

СТАРИК ПОДНОСИТ СНАРЯДЫ

Ю. КРЕЛИН



Юлий Крелин родился в Москве в 1929 году, окончил медицинский институт и работает хирургом.

Его первые журнальные публикации рассказов и повести относятся к 1964—1966 годам.

В 1967 году издательство «Советская Россия» выпустило книгу Ю. Крелина «Семь дней в неделю» (Записки хирурга).

В книгу «Старик подносит снаряды», издаваемую «Молодой гвардией», входят две повести и рассказы, написанные в разные годы.

Это книга об ответственной и беспокойной работе хирургов, их жизни, быте. О болезнях роста и становления молодого врача. Об острых ситуациях, созданных тяжелыми болезнями. О жизни на грани жизни и смерти больного, о борьбе на грани бессилия и всемогущества хирурга.

ПИСАТЕЛИ МОЛОДЫЕ ПИСАТЕЛИ



ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ „МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ“. 1970



Ю. КРЕЛИН

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

СТАРИК ПОДНОСИТ СНАРЯДЫ

P2
K79

7-3-2

КНИГА „БЫВАЛОГО“ ЧЕЛОВЕКА

Люблю прозу «бывалых» людей, и отнюдь не одни только их воспоминания и не только документальные записки о тех интересных делах, в которых они, «бывалые» люди, были не свидетелями, а участниками, а то и затейщиками. Люблю и романы, и повести, и рассказы, в которых с первых же страниц угадываешь почерк «бывалого» человека и которые покоряют нас не только пластичностью письма или живописностью деталей, но и тем еще — ох как недостает этого порой беллетристам! — доскональнейшим знанием предмета, что всегда вызывает читательское доверие. Тем, что «бывалые»-то смотрят на предмет, то есть на жизнь, не сверху и не сбоку, а изнутри. Тем, что если уж пишут характер, так ты чувствуешь, что за ним, за этим характером, стоит не один случайно встреченный и не рассмотренный как следует прототип, а десятки, сотни людей, с которыми он, автор, воистину съел пуд соли. И из этих-то увиденных и глубоко понятых людей несомненно же силой таланта рождается характер, становящийся типом!

«Бывалые» люди в писательстве... Они пишут деревню, завод, больницу, научный институт или цирковую арену, и если есть у них при этом и талант и революционное мировоззрение, — так ведь в тыще деревень, и на тыще заводов, и в тыще больниц, и в сотне институтов, — у людей вырвется при чтении некий одобрительный возглас, вроде нежно-грубоватого: «А ведь знает наше дело, проклятый! Знает, шельмец, его на мякине не проведешь...»

Но ведь и читателя на мякине не проведешь! Уж он-то, читатель, великолепнейше научился отличать чистое золото правды от побрякушек и совсем не хуже литературоведов знает, что писателю, помимо дарования чисто художественного, надобен еще и талант гражданский, темперамент общественный, способность вживаться в определенную область человеческой деятельности так, чтобы чувствовать себя в ней хозяином, ответственным и болеющим за все, что там происходит, а не равнодушно «собирающим материал»...

И разумеется же, он знает, наш читатель, что, допустим, лучшие произведения о минувшей войне созданы писателями-фронтовиками, что лучшие книги так называемой «деревенской прозы» написаны авторами, впитавшими в себя любовь к земле, как говорится, с молоком матери, что...

Впрочем, я с радостью говорю об этом именно в данном предисловии к книге молодого писателя, но уже весьма «бывалого» человека Юлия Крелина. Даже если я и не сообщу тут «анкетных данных» об авторе, читатель и сам поймет с первых же страниц, что человек этот не только знает свой «предмет», но и живет этим «предметом», а именно тем, что происходит и в операционных, и в больничных палатах, и в приемных покоях. А главное — знает он то, что происходит и в умах и в душах врачей-лечителей и исцеляемых. Более того, писатель не просто живет всем этим и знает все это, но и озарен и, по-видимому, на всю жизнь озарен тем, что его герои называют «сверхзадачей», — а она попросту в том состоит, чтобы спасти людей. Спасать их в буквальном смысле от смерти физической и спасать в смысле более глубоком: спасать нравственно, будить и укреплять их волю к жизни, к деяниям, вызывать в них честность и общественную функцию и отсекают — порой резко, хирургическим ножом, а порой неторопливой терапией, но все равно отсекают все, что вредит и им самим и обществу, — своекорыстие, трусость, двоедушие, приспособленчество...

Книга гражданственна, она партийна именно тем, что, так сказать, на медицинском плацдарме она выдвигает проблемы не ведомственные, а нравственные, социальные, важные всему обществу.

Автор запальчив, он увлекается; любой «клинический» случай вызывает у него глубокие раздумья и об интересах всего общества, и о нашей морали, и о достоинстве человека, которое надо держать в чистоте и поэтому оберегать всячески. И в этом смысле, хотя и встречается в книге множество ситуаций драматических (а может ли быть не драматична борьба за жизнь и здоровье людей?!), так вот, несмотря на это, книга жизнеутверждающая — такова авторская позиция. И книга в то же время воинственна, потому что автор, вооруженный ясным мировоззрением, открыто и без обиняков выступает против всего того, с чем все мы воюем: против мещанства, равнодушия, косности, душевной инертности...

Да, автор — врач. И он любит свое дело, и любит людей этого дела, и восславляет их, будит у нас восхищение перед теми, кто ежедневно — по нескольку раз в день — вступает в сражение со смертью. Еще подкупает то, что автор не щадит и своего лирического героя, не прощает ему ничего, чего нельзя прощать, и прежде всего не прощает он ему малодушия. Именно этим книга, помимо всего прочего, будет полезна молодому читателю независимо от того, какое поприще он избрал для себя: медицину или что-то иное...

Ощущаешь, насколько богат автор наблюдениями, и мыслями, и «случаями». Сами-то «случаи» рассказываются вовсе не затем, чтобы пощекотать нервы чувствительного и падкого на «тайны» медицины обывателя. Нет, когда прочтешь всю книгу, то видишь, что «случаи»-то благодаря публицистической заостренности крелинского письма и, повторяю, ясной авторской позиции существуют в рассказах и повестях не сами по себе, а все вместе служат главной идее, той «сверхзадаче», о которой я сказал выше.

А в заключение хочу сказать, что в то время, когда читатель откроет эту книгу, автор ее, может быть, провожает домой кого-то из выписанных им пациентов, может, оперирует, а может, добирается домой, изверившись в спасительности своего ремесла, потому что кого-то ему не удалось спасти, а он, хирург, автор, написавший эту книгу, был последним, кто пытался это сделать.

Так пожелаем доктору Крелину, чтобы поменьше было в его жизни горьких минут и побольше удач.

Пожелаем и писателю Крелину, чтобы он всегда был на высоте, потому что вель литература, хотя в шутку Чехов называл ее в отличие от медицины — жены своей любовницей, — но литература, как это и подтверждено жизненным подвигом самого Чехова, требует от человека такого же мужества и такой же полной душевной самоотдачи.

Георгий РАДОВ

ВСТУПЛЕНИЕ

Каждую осень я надеюсь, что зима все-таки не наступит, и каждый раз все вновь становится белым.

Я опять, как и всегда, в тяжелую минуту, когда не знаешь, что думать, а не только что говорить, уткнулся в окно, и меня одолевают эти банальные думы о погоде. Что думать? Что говорить?

О том, что делать, и вовсе речи нет.

Я отвернулся от окна и вижу разговор начальника с одним из моих коллег. Да, вижу, а не слышу. Один выше, прямее — прямее станом и взглядом. Другой тоже прям, но чуть ниже. Вот тот, который прямее, пригнулся, согнулся где-то в области между шеей и поясницей, придвинул свое лицо к собеседнику и объясняюще вопрошает. Потом выправился и поправил собеседнику воротник. Вот он и есть начальник. Изыск XX века — подчиненные не сдувают пылинок с начальников. Сейчас начальник распорядится, и все начнут действовать, как он скажет.

Да-а. Но и ему здесь так легко не придумать. Вокруг стоят врачи, ждут решения. Да разве решишь здесь, у постели больной? Надо идти в кабинет — обсуждать.

Я опять посмотрел в оконное стекло, посмотрел на отражение больной, лежащей на кровати.

Грузная старуха с худым лицом. Впереди еще полное похудание. Цвет кожи не виден, но знаю — с землистой желтой синевой.

Что делать?

Рак пищевода. Оперировать радикально, убрать опухоль — почти что в лоб стрелять. Не оперировать — через несколько месяцев помрет, и не от рака, а от голода — пища перестанет проходить.

Живет одна. Родственники — брат с семьей — в другом городе.

Спасать ее от голода — сделать отверстие в желудке и кормить через резиновую трубку? Кто ж за ней ухаживать будет? Одна. Одинокaя старуха.

А может быть, оперировать радикально, и — будь что будет?

Выживет — так более полноценной. Умрет — так не в тягость миру, так не будет мучиться. Я не знаю, как тут решить.

Начальник зовет в кабинет.

Конечно, будем решать там. Сидим вокруг стола его. Сам ходит по кабинету, излагает ситуацию, митингует, выспрашивает мнения.

Начинает с молодых.

Весь опрос этот мне слышится, как знаменитая фраза: «Казнить нельзя помиловать». Где расставить запятые?

Говорит самый младший. Я слышу рассуждения: о гуманизме, о профессиональной этике, о смертности после операций, о результатах нашей деятельности за год, о научных работах на эту тему, о разговоре с ее приехавшими родственниками, о состоянии ее различных систем: дыхательной, сердечной, нервной...

«Казнить нельзя помиловать».

Мы думаем про одно и то же и думаем как-то по-разному. Думаем про ответственность перед обществом, про ответственность перед собой, перед больным. Почему иногда в вопросах жизни и смерти человека на первое место встает целесообразность? И эту деловитость в вопросе о жизни человека оправдывают, объясняют, орнаментируют понятием — врачебная этика. Почему, когда появилась жесткость и категоричность в этих вопросах?

Ее лечащий врач, окончивший институт в прошлом году, говорит просто, уверенно, ясно. То ли у него сомнений нет, то ли у него такая манера?

— ...положение безнадежное. Родственникам она не нужна. Она для них обуза. Сделать ей трубку — мучить ее, мучить их, мучить себя до ее выписки из больницы, показать ей, как она будет всем в тягость, и отравить ей последние дни. Оперировать радикально лучше — потому что либо умрет и не будет ни мучиться, ни мучить, либо выживет, и будет лучше ей и им. Я думаю, что лучше оперировать на полную катушку. Родственникам надо сказать правду.

«Отравить последние дни» — какие простые слова. «Отравить» — просто и ясно. Ему все понятно.

Один из старших принялся возражать. Он говорит, что мы не имеем права идти на смертельную операцию, существует врачебная этика, медицинская деонтология, древние традиции медицины, новые традиции советской медицины, говорит о том, что надо воспитывать молодых врачей. Говорит о том, кому можно правду сказать, а кому нельзя. Больной не надо говорить правды, а оперировать надо.

«Казнить нельзя помиловать».

Воспитание врача! Надо ли врача воспитывать как врача? Наверное, надо с самого детства воспитывать врача, то есть обычного честного и доброго человека. Вырастет человек, ответственный перед собой, перед людьми, перед обществом — останется добавить лишь знания. Врач — это только специфические знания. Любая профессия — это только знания.

Выступил еще один и тоже говорил об этике врача, о том, что нельзя идти на смертельный риск, что мы не можем в конце концов думать о родственниках, что мы обязаны пролевать жизнь больным до крайней возможности, что, если мы пойдем на радикальную операцию — мы пойдем на верную смерть, что молодежь надо учить и воспитывать и говорить всегда правду.

И разговор почему-то пошел в большей степени об этике, о воспитании и в меньшей степени — о больной. Легче так, наверное.

«Казнить нельзя помиловать».

Мы призываем на помощь нашу профессиональную, нашу врачебную этику. Есть ли такая? Не подменяются ли этим обычные нравственные критерии? Мы начинаем решать вопрос жизни и смерти человека с позиций нашей узкой, профессиональной этики. Не дай бог, если у каждой профессии будут свои разные этические принципы: у врача и милиционера, у шофера и педагога, у родителей и соседей. Неужели с позиций наших профессионально-этических канонов мы решаем «быть или не быть» (не нам) категорично и безапелляционно? И все-таки, слава богу, мы решаем неуверенно и полны сомнений, потому что нет все-таки отдельной этики больного и отдельной этики врача, потому что, когда есть отдельные этики, есть равнодушие и нет сомнений. И мы все равно не знаем, что будем думать в будущем о сегодняшнем своем решении.

Я сижу, обдумываю, что скажу. Я готовлюсь к речи.

«Казнить нельзя помиловать».

Лежит грузная старуха. Лицо худое, с синевой. У двери стоят родственники. На столе отчеты о работе отделения. На полках медицинские книги. За окном школа, в коридоре студенты. Вокруг врачи. А в городе библиотеки, театры, кино...

Я думаю о прогрессе, который в конечном счете всегда есть борьба со смертью. Я думаю об ответственности перед обществом, перед больным человеком, об ответственности перед самим собой.

Шеф обращается ко мне.

СТАРИК ПОДНОСИТ СНАРЯДЫ

Повесть

Я ВПЕРВЫЕ ВСТРЕЧАЮСЬ С ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНОЙ

Наш дом сейчас, на два месяца, в этом городе. Я здесь со студентами на практике. Впервые встречаюсь с провинциальной медициной. Здесь многое не совсем так, как я привык.

Когда я первый раз пришел в больницу, нас прежде всего повели в операционную. Чем же еще могут хвалиться хирурги? Даже если операционная и не ахти.

Сейчас я смотрю уже спокойней. Привык.

В операционной мелькают голубые пижамы. И на хирургах, и на сестрах. Голубые мне больше нравятся. А у нас белые. Кое-кто уже кончил оперировать, переодевается. Пижамы летят в угол вместе с халатами. После операции их стирают. А у нас в больнице тебе дают эту пижаму, одну — и пока не запачкаешь. А надо постирать — отдавай какой-нибудь нянечке, с которой сумеешь договориться, она тебе будет стирать. Конечно, надо как у них здесь — пижама только на один операционный день.

Интересно в чужой операционной в разгар работы.

Хирург должен стоять прямо. Когда мы учились, наш преподаватель стоял сзади во время операции и — чуть мы согнемся — тянул за уши. При прямой спине долго можно простоять.

Здесь хирург стоит согнувшись. Не дугой, а как-то вперед. Если смотреть на него спереди, получается стрела, направленная в тебя. Прямая линия. Что-то у него тяжелое сейчас, наверное.

Позади него на другом столе готовятся к операции.

Мы идем к выходу. Вдруг — взрыв.

Наркозные аппараты очень редко, но все-таки взрываются (кислород, эфир, статическое электричество).

На полу — обрывки резины. Около эфирницы на аппарате подрагивает огонь. Если огонь проникнет в эфирницу — ее разорвет. Стекло толстое — осколки могут поранить. Сестра-анестезист отскочила.

Зря, надо быстрее гасить.

Хирург, оперировавший, почти одновременно со взрывом поднял руки. Рефлекс.

Интересно: если около хирурга с вымытыми руками кто-нибудь начнет падать — поддержит он его? Наверно, нет. Рефлекс — руки вверх. Конец света — все равно руки хирурга должны быть чистыми.

Огонь горит.

Хирург стоит с поднятыми руками. Он ближе всех к огню. Если эфирницу разорвет, ему больше всех достанется.

Огонь горит.

Сестра замерла.

Хирург встал между аппаратом и больной. Руки опустил — прикрыл ими рану.

Огонь горит.

— Да заверните же кислород! — сорвался хирург. Он стоит, вывернувшись всем корпусом к аппарату: руки остаются над раной.

Он ближе всех — ему бы и погасить.

Руки должны быть чистыми.

Кислород перекрыли — огонь погас. Хирург продолжает оперировать.

Все это длилось секунды.

— Пошли в отделение.

Со мной студенты.

В этом году они впервые встретились с практической медициной. До этого были только московские клиники.

Со студентами я встречаюсь в году раз тридцать. Могу ли я их научить? Могу ли считать себя ответственным за них? Вот дали бы нам на кафедру группу студентов года на три-четыре. И каждый бы день с ними заниматься. Вплотную, а не раз в неделю.

За эти два месяца я их более или менее узнал. На первый взгляд — это то, что называют: «современная молодежь». Твист — он самый громкий. Когда его заводят — шума много. Это слышат все. И говорят: «Современная молодежь!» А я, живя с ними, чаще слышу Баха. Они больше всего любят Баха.

А твист — он всем слышен.

Мы живем при школе, и учителя как-то сказали нашим девочкам: «Передайте мальчикам, что такую музыку заводить при детях нельзя».

Наверно, они имели в виду твист. Баха они не слышат.

Лучшие из ребят находят лучшее. Их может быть и не большинство. Лучшие и не могут быть большинством.

Андрей наиболее выраженный правдоискатель. Он начал с института физкультуры. Не понравилось. Говорит, дух соревнования и конкуренции принял там уродливые формы. В медицину пошел, начитавшись про операции на сердце, про бог знает что. Про красивое. Пришел и разочаровался. Нету этого. Но нашел другое. Его интересуют взаимоотношения людей, поиск. В медицине все это есть. Ищет он во всех направлениях. Говорит, например:

— Многие из нас усвоили эдакую циничную манеру ни во что не верить. Мракобесами ведь можем стать.

Да, за Андрея я спокоен: он мракобесом не станет.

Сегодня, когда мы обедали — а едим мы все вместе при больнице, — выяснилось, что у одного из студентов произошел конфликт с поваром. Ребята стали выяснять подробности.

— Что у тебя произошло с поваром?

— А что? Ничего.

— Ты вызывал повара сюда без нас? — это быстрый и на-

ступательный Саша. Когда он что-нибудь видит какое-то не такое, или иронически хорошее, или даже просто хорошее, он восклицает: «У-у! Какой стэйтс! Я не могу!» Сейчас он ничего не восклицает. Глаза злые.

— Ты же вызывал повара?

— Ну вызывал. Окрошка была жидкая. В ней мяса не было.

— Ну и что ты ему сказал? — включается Андрей.

Я молчу. Я вообще об этом ничего не знал. Они, наверно, нарочно при мне начали. Они не любят этого студента. Саша его называет «гигантевич-мыслевич». А Андрей говорит, что совсем не «фирменный мужик».

— Сказал, что окрошка жидкая. Ну, она со мной объяснилась.

— А сколько лет ей?

Вишь, как повернули!

— То есть как сколько лет?

— А так. Сколько?

— Лет сорок. А может, и больше.

— А тебе?

— А где я ее искать буду? — «Гигантевич» в общем сообразил.

Включился и я:

— Ну, конечно, она для тебя, а не ты для нее. Эта формула особенно хорошо врачам известна. Пускай она и бегаёт по первому твоему вызову. Погоди, станешь врачом — узнаешь эту формулу: «Вы для нас, а не мы...»

Я это сказал по горячим следам.

Вчера ехал на аэродром — с вызова.

Шофер:

— Вы, конечно, извините, что опоздал.

Я:

— Да ну, что вы. Самолета все равно нет.

Шофер:

— Вызов срочный был. Врача повез. А вызов — смех один.

Я:

— А что было-то? Пьяный?

Шофер:

— Какое! Мы подъехали. Мужик-то вышел и говорит: «Жена что-то подрасстроилась. Надо посмотреть, доктор». Доктор психанула, но пошла. «Мало ли что там может быть», — говорит после. А когда возмутилась она, муж объяснять стал, мол, медицина для них, а не...

Все-таки какой угодно врач — плохой ли, халатный — в силу хотя бы только своей профессии добросовестнее представителя любой другой специальности. При прочих равных, естественно. С такими же личными качествами. Просто только потому, что врач.

Ребята не унимаются.

— А о каких дежурствах ты говорил с поваром? — включается Пахом.

— На кухне чтоб дежурить.

— Чтобы кто дежурил?

— Чтобы мы по очереди присутствовали при закладке пищи.

— А с какой стати ты оскорбляешь человека недоверием?!

— Так окрошка была жидкая! — он искренне удивлен.

— А может, кто-нибудь из ребят съел больше и не заметил, что тебя еще не было?

— Значит, распределяли плохо.

— «Распределять», «наблюдать»! Подонок!

Я должен сказать что-то весомое, преподавательское.

— Кто же тебе позволил поганить весь коллектив недоверием к кому угодно? Ты лично не доверяешь! А всех не погань!

— Да я просто попугать... Профилактически.

— Пугать профилактически! Какой стэйтс!

— Зачем ты свою волчью психологию распространяешь

на всех и пятнаешь ею всех? Мы не живем так. Доверяй, прежде чем проверяешь. Я вынужден пойти за тебя извиниться на кухне.

— Доверять другим надо, «гигантевич-мыслевич».

Мы выходим, и Андрей резюмирует:

— Как все ограниченные, он свое ничтожество считает и хочет сделать нормой поведения, эталоном. Остальному удивляется. Остальное не понимает. Он для себя эталон. Так и в медицине будет. — Андрей совсем распухнул, разобобщался.

Из века в век — «современная молодежь»!!!

«Современная молодежь» всегда плоха. Не было времени, чтоб этого не говорили. Вот и сейчас я смотрю на современную молодежь. А я-то когда стал уже не молодежь? Все говорили мне: «мальчишество», «ребячество» — детство. И вдруг — уже не молодежь...

Всякая мода начинается с молодежи. Молодежь первая наденет узкие или широкие брюки. Сбреет или отпустит бороду, изменит прически.

Но в отличие от всей молодежи тупые мальчики, тупые девочки становятся тупыми взрослыми обывателями. Они остаются на всю жизнь с теми же прическами, с теми же мыслями. И они уже не принимают новое поколение с новыми прическами, брюками, юбками, с новыми мыслями. И тут поднимается вопль: «Современная молодежь!»

Я живу в отдельной комнате.

Вечерами иногда начинаются, как говорят мои студенты, «приступы вандализма». По очереди играют на пианино. Серьезная игра вдруг сменяется адом. Неожиданно все стихает. Минут на десять. Начинается какая-то мрачная, древняя музыка — наверно, это Пахом импровизирует. Пойду посмотрю.

Пахом за пианино. Шесть человек, завернувшись в простыни, несут одного, тоже завернутого в простыню.

— Что делаете?

— Архимеда хороним.

Дальше совершена ошибка. Они вышли на улицу и понесли «Архимеда» по переулку.

Скандал:

— Хулиганы!

— Бесстыдники!

— Студенты!!!

— Милицию позвать надо!

Если бы они вышли и стали бить друг друга, это было бы понятно. Это бы вызвало лишь снисходительные улыбки: ну, выпили ребята.

Они вернулись домой. Опять музыка. Для них музыка — то же, что для нас были книги. А книги занимают столько же места, сколько у нас музыка. Произошло смещение. Инфляция слова для них, что ли?

ЛЕТИМ

После обеда за мной приехала машина. Экстренно надо лететь: в больницу поступила прободная язва желудка. Хирурга на месте нет.

Студенты повскакали, всполошились — кому лететь со мной.

Летит Саша.

Через три минуты мы на диспетчерском пункте. Через пятнадцать — на аэродроме. Самолет уже ждет.

Летим. Летим за двести семьдесят километров. Летим низко — метров триста. Этого достаточно, чтобы смотреть на землю свысока.

Совершенно не чувствуем скорости. Только по тени самолета можно догадаться.

Когда говорит Саша, я слышу его голос. Когда говорю я, свой голос почти не слышу.

— Термометр за окном висит совсем по-домашнему! — орет он.

Действительно, как дома.

ОСТАТКИ ВОЙНЫ

— Смотрите! Окопы внизу. Остатки войны.

Ишь ты — остатки. Привычнее услышать — следы войны. Когда война кончилась, Саше было два года. Остатки войны. Сколько их, окопов-то! Черт возьми! А наступать было легче, чем отступать. Отступали и все время рыли окопы, рыли, рыли... новые и новые. А наступали — окопы уже были вырыты. Копали меньше. Впрочем, когда война кончилась, мне тоже было только шестнадцать лет. Так сказать, «мы об этом все не так понимаем». Наверно, «остатки» для нас более правильно, чем следы.

На днях я так же летел на вызов с Андреем.

В диспетчерской санавиации звонок раздался как раз в то время, когда я там сидел.

— Санавиация.

— Нам срочно необходим хирург, — называют место.

— Что такое? У вас же есть свой?

— Да в том-то и дело, что он пострадавший.

— Что с ним?

— Да не с ним.

— Говорите толком.

— А вы не перебивайте. Двое детей хирурга — мальчик семи лет и девочка десяти — подорвались в лесу на mine.

Эти остатки еще до сих пор попадают.

— А какие ранения?

— Ничего не знаю. Он с ними в операционной.

— Сам?!

— Больше ж некому. Но мы решили, что лучше, если вы прилетите.

Через сорок минут мы с Андреем входили в операционную. Хирург выходил оттуда.

— Все в порядке. Не волнуйтесь. — Это он нам. Чтобы мы не волновались. Мы! А у самого границы между маской и лицом почти не видно.

— Что там?

— У моих — пустяки. А вот у третьей — девушки двадцати лет... не знаю. Надо подумать. Хорошо, что прилетели. Пойдемте к ней в палату.

По дороге рассказывает:

— Я в окно увидел. Везут в грузовике троих перевязанных. Кровь. Я не сразу узнал. А когда ввели в больницу — оторопел. Мои оба. А третья на носилках. Я к своим. У мальчишки — над бровью. У Ленки — в затылок. А из головы всегда крови много. Всегда страшно. Хоть, может быть, и не опасно. Думаю: вызвать вас самолетом? Не успею. Может, самому? Страшно. Все равно лучше самому, пока приедете. Вы, правда, быстро прилетели. Посмотрел девушку — у нее надо решать: делать трепанацию черепа или нет. Опять к своим. С кого начинать? Девушку все равно наблюдать надо. Решил со своего. С младшего. У обоих только сверху. Кость не повреждена. Внутри тоже все в порядке. Хорошо хоть, что на видном месте у мальчика, а у Ленки затылок. Девочка ведь — некрасиво на лбу было бы.

Я иду молча. Говорить как-то страшно.

— Зашил я их. Лежат уже в палате.

— Ну, а у этой что?

— Невропатолог считает, что лучше делать трепанацию.

— А вы?

— А вот посмотрите.

Смотрю. Сознание есть. На вопросы отвечает вяло.

— Пожалуй, лучше наблюдать

— Вот и я так считаю. А невропатолог считает, что лучше сделать операцию, чем ошибиться и упустить время.

— Для невропатологов голова, что для нас живот, — это я шучу так. За такие шутки мне стыдно перед Андреем. А Андрей все еще осматривает больную. Пульс считает. Давление измеряет. Он, кажется, со мной не согласен. Сейчас выскажется.

— А может, лучше не тянуть? Может, лучше сделать операцию? — высказался. Правда, вопросительно, но, видно, в душе уверен, что я маху даю.

— А какие показания?

— Была в сознании, а сейчас заторможена.

— Но в сознании.

— Пульс стал реже, давление снизилось.

— Так незначительно, что это еще не имеет значения. Хотя именно это и заставляет нас колебаться.

— Но ведь тенденция-то явно обозначилась.

— Нет, ты, конечно, прав, но надо еще понаблюдать. Нельзя так сразу в голову лезть.

— Но если надо делать операцию, раньше-то лучше.

— Конечно. Но надо быть убежденным, что операция необходима. Голова же! Мозг!

Он отошел, явно не удовлетворенный моими ответами. Как сделать, чтобы он меня понял, когда сам я не очень-то убежден?

— Вот что, Андрей. Будешь всю ночь наблюдать. Если будут показания, придется оперировать. Я ведь тоже не убежден на сто процентов, что оперировать не надо.

Мы залегли в дежурке. Я читаю. Андрей то и дело вскакивает и убегает считать пульс, измерять давление, задавать какой-нибудь вопрос. Ей бы сейчас покой, а мы вопросы задаем — слушаем, как отвечает. Каждый четвертый его поход иду с ним. Приблизительно каждые два часа.

Около трех часов ночи в коридоре отделения крик. Кричит сестра в телефон:

— Вы не кричите! Здесь больные лежат, а вы крик подняли!

Хм. Своеобразно. Андрей объясняет, что это родственники справляются о состоянии раненой.

Утром давление и пульс без изменений. Больная в сознании. На рентгеновском снимке тоже все благополучно.

Операцию делать явно не надо.

А если все ж пришлось бы делать? Андрей, пожалуй, поколебался бы в своем преподавателе. Правда, я все время говорю ребятам, что в медицине абсолютной уверенности быть не может. Лишь колдуны могут быть стопроцентно уверенными.

Когда мы летели назад, Андрей говорил:

«Нет, это здорово, что не пришлось оперировать. А я был уверен, что надо. Это я запомню».

Опасность в том, что подсознательно ему хотелось посмотреть и даже, может быть, принять участие в операции. А это опасность. Сейчас для него время становления врача, а может быть, хирурга.

— ...Конечно, это все же остатки, а не следы войны.

Саша, по-видимому, в связи с окопами тоже думает о случае с миной. Вспоминает, наверно, рассказ Андрея. А тот целое представление по приезду устроил. Он все-таки с удивлением говорил о том, как я оказался прав, а он — нет.

ИСКУССТВУ В ОТЛИЧИЕ ОТ НАУКИ ВЫУЧИТЬСЯ НЕЛЬЗЯ — И НАОБОРОТ...

Студенческий синклит пришел к выводу: все же главное — это опыт.

Вот и сейчас, в самолете, Саша снова к этому возвращается.

— А когда вы летели с Андреем на мину (на мину!) и угадали (угадали!)... Помните? Все-таки прав мудрец: «Опыт — это трубка, которую каждый должен выкурить сам».

Страшная сентенция.

— Не путай опыт со знаниями. Это не опыт, просто я знаю определенную симптоматику, определенную динамику. Знал и ждал, когда это все проявится.

Их научили всюду тыкать этот пресловутый опыт. Только и слышишь: опыт, опыт, опыт. Иногда опыт складывается, как мозаика, в прекрасную картину. Но часто он щит, прикрываю-

щий косность. Часто опытом хотят заменить знания. Редко ведь говорят: «опытный» физик, химик или математик, а вот врач... И все-таки медицина уже немного — и наука, чтобы больше рассчитывать на знания, чем на опыт.

Я и за собой это иногда замечаю. «Да ведь и без того хорошо», — думаю, а иногда и говорю я. «Мы не имеем права рисковать жизнью больного», — говорю я правильно, опытно, но иногда и страшно, когда забываю, что опыт — это еще далеко не все.

А опыт-то у наших ребят должен быть больше нашего. Каждое последующее поколение воспринимает коллективный опыт предыдущих. А игнорирование опыта предыдущих поколений и признание лишь своего личного, меленького опыта как раз и порождает мистические ниспровержения всего накопленного ранее, например законов генетики.

Знания предыдущих поколений — это коллективный опыт мира; они накапливаются и трансформируются в новые знания. И передаются дальше. И опыт этот передают не как древние мастера нашептываниями в течение всей жизни, а через книги, которые читаются в молодости даже лучше, чем в зрелом возрасте. Опыт приобретают и через книги.

Но ведь игнорировать и свой личный опыт тоже нельзя. Опыт все же существует. Я лечил и в день окончания института, но понимал болезни, конечно, хуже, чем через три года.

— Опыт моих учителей — мои знания. Мой опыт — твои знания. Не надо очень уж обольщаться этим понятием. Не надо думать, что в старости я буду лучшим врачом, чем вы, например, молодые. — резонерствовал я перед Сашей. — Когда люди слишком много значения придают этому полумистическому опыту, они легко превращаются в шаманов. Они ставят знак равенства между возрастом и опытом. Никакие личные качества для этих людей не существуют.

От мудрых не услышишь речи о прожитых годах. Не услышишь умиленно-сакраментального: «В наше время...» Зато для косности опыт — лучший щит. Прожитые годы — любимый

аргумент на все случаи жизни. Гордая фраза: «Я вышел из этого возраста» — выставляется вперед как заслуга или достоинство. Это удел тех, кто жизнь прожили, а опыта не приобрели. Из прожитых дней, месяцев, годов они составляют химеру, создают догмы, религию. Никакие факты, накопленные наукой мира — коллективный опыт, — не могут поколебать в них веру в собственный опыт, в собственную значимость. Поди-ка пробейся с новым лечением. Всякая догматическая церковь поначалу все новое отрицает, будь то новая теория медицины, бесконечность вселенной, кибернетика. А потом — что делать? — принимает.

Эти мелкие ценители лишь собственного опыта с одной стороны любят мифические неспровержения, с другой — боятся кажущегося им мистическим грандиозно нового.

Так что же такое медицина? Наука, искусство?..

Ведь не говорят: «Искусный физик, химик или математик...»

ЕЙ БЫЛО ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ ЛЕТ

Однажды один из апологетов опыта все-таки подсек меня. Или я сам поставил себя в такое положение?

Ей было восемьдесят пять лет. Она лежала на кровати грузная, большая. Из-за болей не могла лежать спокойно. Ворочалась.

Конечно, ее надо оперировать. Моих шефов нет сегодня. Сам я не могу решиться на эту операцию. Восемьдесят пять лет! Придется обращаться за помощью.

Как неохота обращаться к нему! А надо. Все же он старший.

Сегодня я был с ним на обходе. Первый раз. Интересно. Он любит, когда его сопровождает много народу. На обходе долго и внимательно осматривает, и ощупывает, и выслушивает, и выстукивает каждого больного. Досконально и всесторонне.

Почти около каждого напоминал, что молодые должны пе-

ренивать опыт старших. Лейтмотив обхода — идите рядом, смотрите, набирайтесь опыта.

В палате он вдруг замер у одной постели. Внимательно посмотрел на больную. Постоял, помолчал.

— Морфий делали?

— Да, — почти шепотом ответил только что пришедший в клинику и уже обалдевший от такой шаманско-гениальной прозорливости молодой врач.

— Я сразу это увидел! Серый оттенок губ... Вот ходите больше на обходы со старшими. Смотрите! Перенимайте опыт наш, пока мы живы.

Все замерли, перенимая опыт. Уставились на губы больной. Я тоже.

Все потрясены: ни одна, даже самая пустячная деталь, не ускользнет от него. Колдун, ведун, чародей — насквозь все видит. А больные? И вовсе поражены.

А я вспомнил: он через заведующего отделением сам ей морфий назначил.

А говорит сложно чрезвычайно. Шаман!

Некоторым больным это нравится. Интеллигентные больные нос воротят.

И вот приходится идти к нему.

Докладываю.

— Когда это началось у нее?

...

— Угу. Восемьдесят пять лет! Ай-я-яй!

Среднего роста, коренастый, седой, густоволосый, ходит быстро и немножко бочком. Больную осмотрел тщательно. Прежде всего живот. Затем все остальное. Послушал сердце.

— Да-а. Оперировать надо, милая. Больше ничего поделать нельзя.

— Ну что ж, оперируйте!

Вышли с ним в коридор. Он тоже немножко огорошен возрастом. Но мы единомышленны — другого выхода, кроме операции, нет.

— Как вы ее предполагаете оперировать? Я бы оперировал под местным обезболиванием.

— Да ведь анестезиологи сейчас считают, что чем тяжелее, чем старше больной, тем больше оснований для общего наркоза.

— Мы таких больных всегда под местной оперируем: считаем, что общий вреден.

(Всегда!) — ох уж это «всегда так».)

— Так ведь вредней считался примитивный наркоз с тряпкой на лице, а не современные модификации.

(Глуп я, кажется, и бестактен.)

— Ну, делайте как найдете нужным. Не стану диктовать. Вам оперировать. Если вы не владеете местной, делайте под общим.

— Я владею, но ведь считается, что современный наркоз более безопасен и даже более того...

— Ох! Вечно вы, молодые, к науке апеллируете больше чем надо. Делайте как делаете обычно.

Прямо, почти что под руку говорит. Может, и правда отказаться от общего и делать под местной?

Больную готовят к операции.

Родственников готовят к сообщению об этом.

Операционную готовят к работе.

Аппарат готовят к наркозу.

Я пока пошел послушать его лекцию. Сегодня он читает лекцию студентам.

На кафедре он еще более импозантен.

Сначала демонстрация больного.

Затем реминисценции и наставления.

— Больного надо осмотреть всего. Всегда есть что-то, чего никак нельзя упустить из виду. Помню, был такой случай в молодости. Я тогда в провинции работал. Приходит ко мне молодой человек. Почти мальчик. Я осмотрел его всего, но поверхностно. Всего!.. Но поверхностно! А в основном — большое место. Стал расспрашивать. С кем живет? Как пи-

тается? Что мать?.. Что отец?.. По легкомыслию!.. — Пауза. — По непростительному легкомыслию. — Большая пауза. Облокотился на кафедру. Схватился рукой за лоб. — ...Почти по преступному для врача легкомыслию я стал задавать ему эти вопросы, не осмотрев всего как следует... — Очень большая пауза. Седые волосы вылезли из-под шапочки. Полуотвернулся от аудитории к окну. А за окном с деревьев листья падают. Какие-то машины рычат — поликлинику строят. А студенты замерли. Заворожил. Ждут. Что же случилось? — А потом вдруг взглянул на плечо, а там... татуировка: могильный холмик, крест и надпись: «Не забуду мать родную»... А я по непростительному легкомыслию о матери спрашивал.

Ну, мне уже пора в операционную. Нет! Решено. Делаю под наркозом.

Операция прошла в общем хорошо. Быстро и без осложнений.

Из наркоза ее тоже вывели быстро.

Домой я ушел спокойный.

А утром:

— ...Давление у нее упало! Пульс почти не прощупывается.

Лежит такая же грузная, но все-таки чуть площе. Дышит тяжело.

Сделали трахеотомию. Переливали кровь в вену, в артерию.

Все-таки она умерла. Восемьдесят пять лет!

Мы и более старых оперировали. И успешно оперировали. А вот она умерла.

Меня вызывают к нему.

— Вы все ж под наркозом делали?

— Да. Подумал-подумал и все ж решил под наркозом.

— Эх, не слушаете вы нас. А опыт-то наш, наша-то наука, что ж, уже не нужны?

— Но наука-то движется. Прогресс какой-то существует. Сейчас ведь научились хорошему, безопасному наркозу.

(Все-таки я бестактный, самоуверенный хам.)

— Умничаете все без меры. Больше чем надо.

— Но больная умерла не от наркоза. Сердце не выдержало. Восемьдесят пять лет. Под местной ей еще тяжелее было бы.

— Не знаю, не знаю. У меня-то ведь сохранился шанс говорить о безвредности местной анестезии и вреде общего наркоза. А у вас? Ничего. Ну и молчите.

Да, тут он был совершенно прав. У него сохранился.

А у меня?

И у меня все ж сохранился.

ПРИЛЕТЕЛИ

Уже потом, когда мы прилетели, когда не лез в уши грохот, я не удержался и еще немного подоктринерствовал перед Сашей.

— Да, Саша, опыт не надо фетишизировать. Фетиш — основа колдовства. Читать надо больше. Больных смотрите больше. Читайте все, не только медицину. Некоторые считают, что культурный врач, знающий музыку, живопись, читающий, неминуемо плохой врач. Считают, что все это в ущерб его профессиональному росту. Вздор! Читайте! Без искусства остается всегда только одна сторона, один цвет. Одно дело. Полутонов нет.

Да простят меня боги за это резонерство.

А ребят, наверное, надо учить. Может, и не мне, но кому-то надо. Они ищут.

«Современная молодежь!» «Опыт!» Головы у них такие же, как были у нас. Только чуть побогаче. Они знают то, что не знали мы пятнадцать-двадцать лет назад. Они знают. Опыт у них. Коллективный опыт мира — он один имеет цену. А не ублюдочный жизненный или профессиональный опыт «каждого данного индивидуума». (Правда, очень-то я себя не хочу обижать: «коллективный опыт» — это все ж и наш опыт.)

На краю поля стоит санитарная машина. Это за нами. Прощаемся с летчиком.

— До свидания. Мы позвоним, когда за нами прилетать.

— Счастливо оперировать.

— Счастливо долететь.

Дверца захлопнулась. Самолет улетел.

Больница маленькая, одноэтажная.

Смотрю историю болезни — время поступления. Мы прилетели через час после прибытия больного.

— Давно болеете?

— Лет десять.

— Нет. Вот эти сильные боли?

— Ой, не говорите, уже три дня.

— Как это три дня? Это же очень больно.

— А я водку пил, чтоб не очень было.

— Почему же в больницу не поехали?

— Боялся. Я знал, что операцию надо.

Хорошее дело! Надо быстрее оперировать.

— Операционная готова?

— Скоро уже можно будет начинать.

— Как так — скоро? Что же вы не подготовились?

— Наркотизатор ушла на реку. Мы не могли ее найти.

— Ну хотя бы аппарат подготовили. Все было бы готово.

А наркоз мы бы сами дали.

Великолепный механизм: телефон, машина, самолет, машина... наркотизатор на реку ушла.

— Давайте готовить. Не можем же мы ее ждать.

Пока готовились, пришла наркотизатор. Прошел еще час. Какая нелепость!

И здесь есть наши студенты. Они по всей области.

— Саша, а где все студенты, где ребята? Я вижу только двух девочек.

— А они тоже где-то на реке сидят.

— А девочки что ж?
— А ребята здесь с ними почти не общаются. Чудаки.
И почему? Непонятно. И девочки-то не такие уж скырлы.

— Что?

— Скырлы. Скырлочки.

— Это как? Что значит?

— Да так. Ну это ж понятно.

Вообще-то, конечно, понятно.

Наконец, мы моемся.

— Почему больного не дают?

— Идет уже.

— То есть как это идет?!

Действительно, дверь открылась, и больной буквально вполз. Сам! На своих ногах! С трехдневным-то перитонитом! Это безобразие. Сейчас, пожалуй, не стоит говорить. Перед операцией не надо обострять ситуацию. И так все напряжено. И так все напряжены. Больной тяжелый. Своего хирурга нет. Приехал чужой. К тому же из Москвы. Хоть бы из области... Но после обязательно скажу. А сейчас им трудно: чужой человек.

Все выкрашено масляной краской. Лампа висит низко. Духота ужасная. О вентиляции и думать нечего. В Москве-то она есть лишь в нескольких больницах, вернее, институтах. Лоб уже мокрый. Хорошо, что у человека есть брови, а то б все глаза залило.

— Вам руки вытирать салфеткой или полотенцем?

— Да как у вас принято, так и давайте.

— Да, да. Сейчас. Извините: халаты у нас желтоватые.

— Ну, естественно. Наверно, в автоклаве стерилизовались не меньше ста раз.

— Да, наверно. А что, это много?

— Да нет. Нормально.

Черт! Никак в тон не попаду. Как эту струну порвать? Ну, надо начинать.

Больной уже спит.

Все готово.

Все готовы.

— Дайте ножик, пожалуйста.

— Что вы?

— Ножик, пожалуйста, дайте. Скальпель.

— А, да!

В животе полно гноя. Естественно. Три дня! Вот дыра. Ее-то мы быстро зашили. А пока протерли весь живот, пока весь гной удалили... Попробуй-ка удали его под местной анестезией. Такую вещь можно только под общим сделать. Больно очень под местной. Ведь весь живот изнутри протереть надо. Поди-ка вытерпи. Он не вытерпит — я не протру как следует. Не протру как следует — исход сомнителен.

— Можете его пробуждать потихоньку. Кончаем. Уже зашиваем.

Выхожу в предоперационную. Стою, мою руки. (А перед операцией моешь — табуретку подставляют.) Из операционной шестие: четыре женщины несут больного на руках в палату.

— А что, у вас нет каталок или носилок?

— Есть то есть, да разве в этом коридоре с ними развернешься.

Да. Дурак я. Нравоучения решил читать. Все же надо бы и в операционную тогда нести.

— Это здание наше совсем уж не годится. Мы давно ставим вопрос о новом помещении.

— У вас же хорошая двухэтажная поликлиника. Перенесите туда стационар.

— Э-э-э! Поликлиника для нас важнее, во-первых. А во-вторых, стационар нам все равно построят когда-нибудь, а поликлинику нет. Пусть уж так.

Саша пришел от больного.

— Все в порядке — хорош.

— Пока-то хорош, а вот как дальше пойдет? А где девочки?

— Скырлочки? Тоже ушли на речку.

Уже равнодушие. Что же будет дальше? Самый тяжелый порок.

В городскую больницу привезли шестилетнюю девочку со столбняком. Я говорю дежурному о новом способе лечения препаратами кураре, чтобы обездвижить при столбнячных судорогах. Страшные судороги. От чего угодно. От скрипа дверей, от разговора за стенкой, от луча света через щель начинается натужная улыбка (судорога лицевых мышц), затем выгибается все туловище. На кровати лежит как дуга, как лук с натянутой тетивой, где постель — тетива. Человек покрывается потом, на лице страдание и улыбка. Если обездвижить — лечить легче, но дыхание надо взять на себя — все время качать.

Ребята тут же вызвались дежурить и по очереди дышать за нее.

Врач покачал головой.

— Да, интересно. Но не на ней же пробовать новое лечение. Не на шестилетнем ребенке. Нам и так удавалось иногда вылечить.

У него же опыт!

Конечно, врач должен быть немножко косным. Если сразу же на всех пробовать новые методы лечения, много дров наломать можно. И все же ни слова, ни вопроса о новом методе...

Равнодушие!

Равнодушие к больному.

Равнодушие к новому.

Равнодушие к преступлению.

И пошлò...

Сегодня уже нам улететь не удастся. Летим завтра.

— Позвонить, что ли, в Карпово? Может, поехать туда, посмотреть больницу? Довезете нас?

— Конечно! Это всего семьдесят километров. За час-полтора доедете. Сейчас я созвонюсь с ними.

Там большая больница. Не чета этой. Мне говорили про нее. Хочу посмотреть.

— Все в порядке. Дозвонился. Машина уже стоит.

Мы посмотрели еще раз больного. Обещали позвонить завтра и, в случае чего, приехать.

Только мы проехали километров десять... Машину резко дернуло и куда-то в сторону бросило. Оказывается, сломалось что-то внизу. Какой-то палец какой-то тяги. Я в этом ничего не понимаю.

Пока шофер лазил под машину, я стоял у речки, вернее, у ручейка, и глубокомысленно смотрел в воду. А там плавали утки. Время от времени каждая кидалась на дно и что-то там искала. Одна утка делала это особенно смешно. Лапы ее оказывались высоко в воздухе. Она ими шевелила. Как будто ее воткнули в дно. Интересно, зачем она лапами шевелит?

Рядом женщина белье полощет. Классический персонаж. Классические звуки хлопающего о воду белья. Кончив полоскать, сняла резиновые перчатки, накрыла плетеную корзину с бельем полиэтиленовой пленкой и пошла. А здесь многие оперируют без перчаток.

Провинция!

И слово это уже не подходит. Вот ведь в областной больнице они уже во многом Москву обогнали.

Провинция?! Еще неизвестно, где провинция. Вот ведь мы в Москве пишем истории болезни, как и писали много лет назад, а они...

Периферия!

ХИТРИМ, БРАТЦЫ, ХИТРИМ

В областной больнице мы с главным хирургом стояли на лестнице, разговаривали и смотрели вниз. Там раздевалка для сотрудников. Была смена сестер. Яркими пятнами, разными пятнами шли туда женщины. Мужчин не было. А женщины сейчас одеваются ярко. Красное, желтое, зеленое. Прически высокие, хвостатые; косы, шиньоны, банты — все, что хо-

честь, увидишь сверху. Это поток в раздевалку. Из нее же выходят все одинаковыми белыми пятнами. Различаются лишь лицами и походками. Но сверху этого не видно.

Вот у них истории болезни не пишут — печатают.

— Что, у вас все врачи печатают на машинке?

— Нет. У нас у каждого своя катушка пленки. И каждый диктует.

— Как диктует?! На магнитофон? У вас есть?!

— Ну да. Это очень экономит время.

— Это-то понятно. Но откуда берете машинистку? Как же со сметами?

— Ну! Хитрим. Когда кончается год — надо тратить деньги, а то на будущий сократят. В это время главные врачи, как и все хозяйственники, готовы купить что угодно. Вот тут-то и подкидывается идея магнитофона.

— А кто же перепечатывает?

— Это сложнее. Всем известна трагедия больниц: нет санитарок. Идут только пожилые. Молодые идут на завод, куда угодно, только не в санитарки. На производстве уборщица получает больше. Короче — санитарок нет. Весь уход за больными все равно падает на плечи сестры. А уборщицу — одну на отделение — найти можно. Две ставки санитарок остаются неиспользованными. На них нанимаем машинистку.

— Ха! А администрация?!

— Самый тяжелый пункт. Главная велит машинистке отсиживать время двух ставок. А мы говорим, пусть хоть час сидит, хоть двадцать четыре часа, лишь бы успевала.

— Ну хорошо, печатает. А что это дало для дела?

— Во-первых, время — это ясно. Во-вторых, оказалось, что истории болезни никто писать не умеет. Глупые мысли. Вернее, их нет. Ведь никто не читал их, эти истории. Только при жалобах.

— Ну уж если говорить серьезно, в нынешнем виде истории болезни никому не нужны.

— Отказаться вообще? Сие не от нас зависит. Пока исто-

рии болезни используются для контроля за врачом, они сохранятся. Вот форму контроля давно пора изменить.

— Завидую вам.

— А чего завидовать — все в руках человеческих.

— Нет. К сожалению, часто все в руках божьих. Вы перехитрили вашу главную, а это не всегда удастся.

— А мы не только хитрим. Иногда используем начальство, прибегая к различным обходным приемам.

— Это как?

— Ну, используем болезни и все такое.

— А точнее?

— Ну вот, например, решили мы по субботам устраивать совместный чай.

— По вечерам?

— Да нет. В субботу мой обход всего отделения. После обхода обсуждение больных. Это приблизительно около часу дня. В это время мы обычно пьем чай. Каждый в своем углу. Иногда попарно — у нас ведь супружеские пары работают.

Это верно. И вот это, пожалуй, специфично для малых городов. На работу часто идут доктора попарно. В большом городе муж и жена редко работают в одной больнице: больниц много.

— Ну мы и решили, — продолжал он, — что каждый по очереди будет хозяином чая.

— Это как понять?

— Ну, притащит варенья, сахар там, пирог испечет. Что-нибудь в этом роде.

— Ну?

— Ну и пьем чай и разбираем больных. А если нет тяжелых или неясных больных, то просто так пьем и треплемся. Короче, обычный наш чай, только совместный.

— Ну, а при чем тут начальство?

— Вроде бы должно быть и ни при чем. Да наша главная узнала и вскричала: «Как! В рабочее время! Забрать у них стаканы!»

— Это ж дикость!

— Она этого не понимает. Или просто на нас зла: с нами тяжело ей, непонятные мы для нее.

— У нас в больнице тоже была раньше такая же. У хирургов ведь дежурство без права сна. Так велела забрать одеяла. Ей говорят, что дежурства тяжелые, пусть отдыхают, пока больных нет. А она: «Ничего. Не положено».

— Ну вот и наша: «Забрать стаканы!» А тут-то нам и привалило счастье. И мы его использовали, может быть, и не совсем корректно, но полезно. В отделение попал сын секретаря горкома с аппендицитом.

Я понял:

— Вы к нему. Он, по-видимому, сказал: «Ерунда какая! Я поговорю».

— Вот именно. И мы пьем чай в субботу все вместе.

ЕДЕМ — РАСШИРЯЕМ СВОЙ ОКНОМ

Шофер прервал мои завистливые думы и сообщил, что эта машина для нас кончилась. Нужна другая.

Хорошенькое дело! Где же ее тут возьмешь? Будем ждать попутную. Или, может, назад пойти — всего-то километров десять. В Москве, гуляя, и больше проходишь.

Пока мы размышляли, появилась встречная машина.

— Сам едет! — обрадовался шофер.

Сам — это хирург из Карпова.

— А мы к вам.

— Знаю — за вами и едем.

— А кто вам сказал, что у нас авария?

Впрочем, какие глупости я говорю. Сломались мы только что, а до Карпова километров шестьдесят.

— Так я понял, что должен заехать за вами в больницу. Эта неувязочка оказалась кстати.

Тут и грузовик какой-то подвернулся, подцепил первую машину и повез домой.

Я смотрю на карповского хирурга. Совершенно неинтеллигентное лицо. Глаза какие-то невыразительные.

Снова едем. Горизонт то широкий, когда впереди поле, то сужается — лес показался. Напрасно Ломоносов притащил к нам это слово — горизонт. Горизонт! Мне больше нравится слово оком. Оком даже правильней. Око ймет то больше, то меньше. Сейчас край окоема зазубренный и темный — лес. Идет зубчатая линия. И вдруг, раз... свеча, а рядом луковицы. Церковь торчит. Странная форма. Похоже на Эйфелеву башню. Церкви лет триста, наверно. А может, сто.

А здесь уже оком маленький — земля поднимается по краям, как чаша. И мы в ней. А из-за линии окоема опять шпиль торчит.

Шпиль двигается?! Ан не шпиль — человек идет. Против света мне показалось.

А вот какие-то фантастические фигуры. Нечто разлапистое, выпуклое. Медленно вертятся. Радиолокаторы, говорят...

Опять какая-то установка. Внизу толстый стержень, вверху расщепляется и двумя лапами, торчащими в стороны, уходит ввысь. Что это? Тьфу, пропасть! Дерево это.

Справа затарахтел самолет. Как-то они здесь по-другому шумят. Где он? Нету. А-а, вон он. Никак не могу привыкнуть к этому парадоксу: если слышишь, гудит самолет справа, гляди влево — он уже там. Все еще абстрактно воспринимаю это понятие — быстрее звука.

— Что, что?

Хирург, его зовут Степан Степанович, что-то говорит мне. Я прислушал.

— ...Трудно без него очень.

Он, наверно, давно говорит. О чем? Неудобно как. Послушаю, может, включусь, пойму.

— Каждый раз как ставит больного под экран...

Ага, речь идет о рентгенологе. Без него трудно. Конечно, трудно. А что же случилось? Где он?

— ...под экран, так на тебе.

Опять что-то непонятно, что «на тебе». Надо что-то вставить в разговор.

— Да.

Вставил, хм.

— Да, да. Все у него рак.

Понятно. Заболел. Канцерофобия — ракобоязнь. Есть такая болезнь. Человек боится рака. Все свои ощущения он расценивает как симптомы рака. Жизнь становится невозможной. Ощущения смертника. Иногда это частный случай шизофрении.

Но при чем тут больной под экраном? Надо опять что-то вставить.

— Тяжело ему.

Ах, я умница, как разговор поддерживаю! Светская куртуазность!

— Тяжело! Просто работать совсем не может. У каждого больного видит. Кажется, всем ясно — язва. Мы не рентгенологи, видим — язва. А ему кажется, что края похожи на рак.

Ух ты! Это бывает у врачей, особенно у рентгенологов. Так сказать, ракофобия не на себя, а на других. Боязнь за других. Боится рак пропустить. В конце концов начинает у всех его видеть. Работать, конечно, невозможно. Теперь понятно все — рентгенолог выбыл из строя, и больнице трудно без него. А для чего он мне это говорит? Наверно, к чему-то? С чего он начал?

— Ну и как же вы обходитесь?

— «Обходимся!» Не обходимся! Сами посмотрим. Поэтому я и прошу вас посмотреть этого больного. Может, вы лучше разберетесь?

Вот теперь все ясно.

— Вряд ли я лучше вас в этом разберусь, но давайте посмотрим.

Здесь иногда думают, что специалист из Москвы знает

больше. Может быть, мы иногда и знаем больше... в глубину. Но они всегда знают больше и уж наверняка умеют больше... в ширину. Ведь у нас по каждой части тела свой специалист. Конечно, в век узких специальностей врачи должны поделить человека на департаменты. «Никому не объять необъятного». И все же жаль. Обеднены мы этим. А он, видишь, вместо рентгенолога, да, говорят, еще и глазные операции делает. В Москве меня ругали за то, что я гинекологическую операцию делал. Я говорил: «Опухоль была сращена с маткой». — «Все равно. Надо было во время операции вызвать гинеколога». Москва! Вслед за этим говорят об овладении смежными специальностями. Про Степана Степановича на областной конференции говорили: если его приравнять к человеку, выращивающему хлеб или свеклу, он бы уже несколько раз получил звание Героя Социалистического Труда. Он делает по пятьсот операций в год. Да, конечно, Степан Степанович смежные специальности знает больше меня. Он с ними встречается. А не пытается искусственно «овладеть» тем, чего не видит регулярно. Здесь они и детские хирурги, и глазники, и гинекологи. Правда, если какая сложная операция по моей узкой специальности, то я, может, и лучше окажусь — сложных операций я больше делаю. Сложные по моему департаменту человеческого организма.

«ДОБРОГО ЧАСА ВАМ»

Подъезжаем.

— Прямо к отделению. Сразу посмотрим на рентгене, а потом ко мне.

Слышу сзади Сашин голос.

— Я йог.

Это я уже знаю. Это значит, что уже давно он что-то с трудом терпит, но если надо — готов терпеть и дальше.

— Давай беги. Пока еще откроют кабинет, приведут больного, пока мы привыкнем к темноте...

Рядом с двухэтажным больничным корпусом мальчики в пижамах гоняют мяч. Сестра стоит на крылечке.

— Идите ужинать!

(Меня этот призыв к больным: «Ужинать!» — раздражает. Каждый раз я вспоминаю, как у нас в больнице нянечка ежедневно механически открывает дверь в послеоперационную палату, где лежат только первые сутки после операции, и кричит: «Ужинать!»)

— Баранов, тебе давно пора в постель! У тебя же постельный режим!

Это уже интересно. Постельный режим. Он его, кажется, скрупулезно выполняет. Красный, разгоряченный, бежит к крыльцу. Напоследок поворачивается, вытягивает руку.

— Тах, тах! Тебя я убил, а тебя ранил в ногу!

И скрывается в больнице. Интересно, что у него?

В рентгеновском кабинете темно. Мы уже привыкли к темноте. Саша уже не йог. Стоит рядом спокойно.

Мы смотрим желудок. Желудок — это то, что я на рентгене более или менее часто вижу. Здесь иногда я могу быть полезен. Больной принимает барий, и мы видим желудок изнутри. В какой-то книге я читал сетования рентгенолога: «Сидишь целый день в темноте. Видишь желудки изнутри. В конце концов чувствуешь себя проглоченным». Пожалуй, это верно.

Я показываю Саше контуры опухоли.

— В чем сомнение у вас?

Просто такой диагноз самому как-то боязно утвердить. Больного надо оперировать.

— Ну, отделение посмотрим завтра, а сейчас пойдем ко мне.

Пока мы шли до дома Степана Степановича, каждый встречный останавливался и говорил: «Доброго часа вам». Не мне — ему. В Москве за день мимо меня, наверно, тысяча

пятьсот проходит. Ну, раз-то в год мне, наверное, попадаетея больной, которого я оперировал. Но часа доброго мне никто не желал. А ведь сколько я лично сделал операций! А на скольких помогал! А сколько больных просто у нас в отделении лежало, без операции, и я лечил их!

Жена Степана Степановича тоже доктор. В коридоре над холодильником телефон. Полки, книги, керамика. Интересно, что он читает? Ну, медицина, ладно. Чапек. Франс. Вольтер. Хм.

А водочка из холодильника запотела.

Телефон звонит непрерывно. То насчет больного что-нибудь, то какие-то административные дела. Он ведь к тому же и главный врач. Кто-то отказался от противостолбнячной сыворотки. Где-то больной отказался ехать в больницу. Какого-то больного шизофренией не знают, как отправить в психиатрическую больницу, — буянит. Спрашивают — можно ли обратиться за помощью к милиции.

Я спросил, всегда ли так, и тут-то началось! А казалось, он на это реагирует спокойно. Ясно же, что спокойно реагировать нельзя. Не надо было спрашивать.

— Больше не могу. Хочу уехать отсюда. Это — что вы сейчас слышите — как раз ничего. Но я уже уперся в потолок. Здесь я достиг всего, что в этих условиях можно. Я сгибаюсь. Согнувшись, долго не проработаешь. Устаешь.

Это он верно говорит.

— ...Мне же хочется работать. Вы бы хоть почаще приезжали. Варишься в собственном соку.

Жена тоже хочет уехать. Правда, акценты в ее сетованиях немножко другие:

— Ну, представьте себе, я с ним сегодня поругалась. — Легко могу себе это представить. — ...Разозлилась и решила: уйду на вечер. Ну хоть до двенадцати часов. Пусть он вечер один посидит с детьми. Пусть повернется! Так некуда! Некуда пойти. Даже на вечер! В город хочу.

Я не знаю, что сказать.

Спать я пошел в студенческое общежитие. То бишь в школу. На второй этаж. Я спал в кабинете врача.

Они на меня подействовали своими сетованиями. Интересно, что ничего подобного я не слышал от врачей, которые не сделали в своих больницах и сотой доли сделанного здесь Степаном Степановичем. Впрочем, все это по рассказам — сам я ничего еще не видел.

Ответить-то я должен что-то. А что? Не знаю. И не смогу. Он мне скажет: «Хорошо вам там, в Москве, рассуждать».

Потом я читал. Потом так лежал и ворочался. Задал он мне задачу.

Начинало светать. Рассвет часто меня заставлял бодрствующим, но чтоб ничего не делать, а только смотреть — такого не было.

Когда небо посветлело и посветлело уже значительно, я стал наблюдать за ним...

Вдруг зажглись красные блестящие полосы, горизонтальные. Они горели и сверкали. Это еще не видимое солнце бросило свои лучи на облачка. Небо серое. Облачка на его фоне несколько темнее, а по краю их красные сверкающие неровные ленты. Одна за другой зажигались полосы.

«Все замерло в ожидании первого луча». Он должен сейчас выполоснуться из-за края видневшегося далеко-далеко леса.

Я забрался на стул и вытянулся в открытое окно. Ну! Где зеленый луч? Вдруг из-за неровной кромки леса показался красный-красный... Что-то красное. И никаких лучей. Еще мгновение — и «что-то красное» уже серпик.

А где же зеленый луч? Где вообще лучи?

Впрочем, зеленый луч — это, кажется, при закате и вообще в море. Ах я урбанист несчастный!

Небо остается таким же. Никаких изменений. Так же блещут полосы. Ничего не изменилось. Красный серпик ничего не изменил. Даже света не прибавил.

Серпик выползал на глазах. Он вылезал из-за горизонта и катился куда-то вправо.

А серпик-то думал, что катится влево. С его стороны это, конечно, так.

С невероятной быстротой серп поднимался кверху и в сторону. Вот уже полушар. А вот и шар. Нет, блин. Красный блин. И совсем неяркий. Я смотрю на него спокойно. Светило наше при рождении совсем спокойное...

Надо же дожить до 35 лет и впервые увидеть все это. Да и сейчас я из окна смотрю. Нет, чтобы в поле.

Впрочем, ну и что?

Я лег, но восход не оставлял меня в покое. Передо мной висела лампочка. Без плафона. Большая, на сто пятьдесят свечей. На лампочке вдруг отразились переплеты оконной рамы. На той, на задней для меня, стороне отражение выпуклостью в одну сторону. На моей — в другую. Ага! Вон на лампочке красный шар! Собственно, не шар — точка. Очень скоро точка исчезла. Отражение — белый верх — небо, темный, точнее зеленый низ — лес.

А потом переплет рамы появился на стене. В этом переплете ничего не отразилось. Тень была красная. Вскоре красное стало розовым, а потом золотистым.

...И вдруг все стало обычным, солнечным, как в привычном дне.

Я столько раз встречал рассвет у окна операционной и ничего не видел. В следующий раз обязательно посмотрю рассвет опять из операционной.

Я улегся на бок. Устроился поудобнее. Ухо прижал к подушке. Почему-то иногда прижмешь ухо и слышишь, как сердце бьется в подушке. А может быть, это не сердце, а просто слышишь, как кровь бьется о стенки сосудов? Очень неприятно это слышать. Каждый удар и подарок и невозвратная потеря. Если у меня за жизнь миллион ударов должно быть... Какой миллион! Лень считать сколько. Но можно. С каждым ударом их, оставшихся, все меньше и меньше. Все удары похожи друг на друга. В лампочке отражаются небо и игры рассвета на нем. Странная форма у лампочек. Лампочка стала

напоминать боксерскую грушу. Бокс надо запретить. Хотя бы не поощрять. Нелепый вид спорта. Конечно, нелепый, если цель каждой встречи — загнать партнера в сотрясение мозга, в нокаут. Удары. Удары. Зачем этот спорт? Бьют по голове. Не понимаю, зачем бить по голове. Я голосую против бокса. Против ударов. Боксерская груша, или перчатка, перед моими глазами поднялась, голосуя против себя, а потом стала ударять по стене...

...Это Саша меня будил. Пора в больницу. У Саши полно впечатлений.

ПРОДОЛЖАЕМ РАСШИРЯТЬ ОКОЕМ

— Вы видели, какие здесь уборные? Такой стэйтс — я не могу! Ребята их зовут: мужскую — Терек, а женскую — Дарьял.

— Ничего не понимаю. Какой Терек?

— Река такая.

— Догадываюсь. А при чем тут уборная?

— Ха! Они все время в действии. Все время шумят. Не надо дергать за веревки, цепочки, нажимать на кнопки, ручки. Каждые три минуты бачки срабатывают автоматически. Вода спускается. Естественно, со страшным шумом. Они и называют их так.

— Понятно.

— Фирма! Какой-то фирменный «гигантевич-мыслевич» придумал. Поборник чистоты и гигиены. Гигиеневич! Со школы, поди, привыкал к вокзальной гигиене. И ребят к такой же приучает.

Саша легко от всего возбуждался.

— Ладно, йог, пошли.

В хирургическом отделении несколько палат. В каждой палате одеяла своего цвета. Может быть, и не очень это красиво. Дело вкуса. Но равнодушия нет.

«Сам» организовал здесь станцию переливания крови. До-

норы свои — из поселка и окрестных деревень. Обеспечивает себя и соседям иногда может помочь.

Все ж расширяться и развернуться он не может. Если б все эти сметы, штаты не укладывали в строгие рамки, он в них барахтается. Он может прыгнуть выше себя, но не может перепрыгнуть эти преграды.

Наш обход прервали. Привезли больного со стадиона. Играли ребята в футбол и одному из них сделали «коробочку». Как это им удалось так сдавить его? В результате — так называемая травматическая асфиксия. Это когда грудная клетка сдавливается. Верхняя половина тела покрывается красными пятнами — кровоизлияниями. Пятнистость как у леопарда. Даже в глазах кровоизлияния. Такие вещи редко случаются на поле стадиона. А вот когда толпа врывается на стадион сквозь узкие ворота — там могут сдавить до смерти. И это чаще всего травматическая асфиксия. Важно удержаться на ногах, чтобы в большой давке не погибнуть. Но в толпе можно и стоя задохнуться. Сдавливает грудь — и нарушается дыхание, кровообращение. Удавы так душат. Прежде чем переломают кости, грудную клетку сдавят — наступит удушение, травматическая асфиксия. А уж дальше не чувствуешь ничего, когда кости ломаются. Ведь сначала дышать нечем. Впрочем, оставим эти наши тонкости.

У этого больного пустяки. Полежит несколько дней и домой пойдет.

Обход продолжается.

А вот и мальчик, который вчера в футбол играл. Баранов.

— С ним что?

— Этот после операции. Грыжа.

— Зря он, конечно, бегаёт. Опять грыжа будет.

— Сестра не уследит. На тридцать больных одна. Тут и взрослые и дети. А ему же не объяснишь: десять лет — бегать хочет. Хоть мать сажай с ним. А мы и пускать-то должны родных лишь два раза в неделю.

— Какой у вас удобный рентгеновский аппарат — переносной!

— Да, в операционной с ним более удобно, чем со стандартным.

— А у нас таких я и не видел. Где вы его взяли?

Степан Степанович доволен — весь разморщился, за сверкал.

— Это я у ветеринаров сменял на наш. Им-то все равно, а нам намного удобней.

Почему б для нас такой же не сделать? Надо бы достать.

Пошли дальше.

Комната для врачей. Степан Степанович звонит — вызывает нам самолет. Вчерашний больной хорош — мы туда тоже позвонили.

В комнате стоит старый шкаф, а в нем музей. В обычных стеклянных консервных банках. Банки закрыты крышками — обычными консервными крышками, про которые в ГУМе висит объявление: «Крышек для банок для консервирования сегодня в продаже нет». В банках все необычное, интересное, что попадалось на операциях.

Смотрю операционный журнал. Смелый хирург. Не каждый на такие операции пойдет, даже в условиях московской клиники.

Степан Степанович непрерывно говорит. Много возмущается. Все кипит в нем.

— Идея приблизить медицинскую помощь к населению — нелепа. Участковые больницы — глупость. Там врачи в силу специфики больницы — низкой квалификации. Там чаще, чем мы, не могут поставить диагноз. Ведь чуть что сложнее, они, естественно, шлют к нам. А ведь у них не поликлиника — больница. Тот же аппендицит из-за этого может поступить к нам не в первые сутки, а значительно позже. Врача же винить нельзя — таков изначальный характер участковой больницы. В области дороги хорошие, есть телефон, есть машины.

Если нет участковой больницы — не на что рассчитывать. А если есть — ясно, туда бегут, ближе потому. А лучше бы: болит живот — лети в районную больницу. Зато районные больницы без этих мелких могут быть больше. Врачей в центре будет больше. Работать было бы легче. В случае нужды мы ведь и на самолете можем долететь куда угодно.

«Сам» сидит напротив меня. Интеллигентное лицо. Высокий лоб. Смотрит прямо. Вот и верь первому впечатлению.

Он прав. Во всяком случае, для этой области он прав. Надо предоставить право областному начальству на месте решать, как им удобнее и лучше расставить свои силы.

По телефону просят, чтоб мы слетали еще в одно место, не заходя в центр. Случай срочный, а у них там все заняты.

Попрощался со Степаном Степановичем. Летим туда. С самолетом прибыл еще и Андрей. Теперь студентов двое.

Я опять резонерствую с ними. Говорю, что самый страшный врач — равнодушный врач. Равнодушие — враг прогресса, порядочности и медицины. Привожу мудрые примеры. Все время думаю о Степане Степановиче. «Сам»-то вон что натворил и все-таки рвется отсюда. Гнется. Устал. Хочет уехать — выпрямиться. В другом месте сидит человек — делает все, что положено. Холодно делает все. И никуда не рвется. Его и так все устраивает.

«БОГ ПРИБРАЛ» ИЛИ «ЗАРЕЗАЛИ»

Через 30 минут мы уже в Кириллове. Опять самолет, поле, машина, больница.

— Долго же вас пришлось ждать. — Это говорит женщина, главный врач.

Хирург — молодой парень.

— Да, собственно, это не так уж срочно. Больная поступила с пороком сердца.

Не хотят же они сердце здесь оперировать? Долго ждали. Может, два часа. Торопиться здесь и ни к чему.

— Лежала она у терапевтов, и внезапно появились боли в ноге.

Ну, конечно, кусочек тромба попал в артерию. Кровь не проходит. Гангрена — нога умирает. Когда же это случилось? Может, еще можно удалить тромб?

— Удалять тромб уже поздно.

— А когда случилось?

— В том-то и дело, что еще вчера. Не только больше шести часов, но и больше двенадцати.

— А что ж дежурный?

— У нее сидели родственники. Заболела нога. Она им сказала. Решили, что надо терпеть. Родственники, уходя, передали сестре, что нога болит. Все как-то спокойно. Сестра не обратила внимания, что походя ей сказали. Больная всю ночь не спала из-за болей. Сказала лишь сегодня на обходе.

Да, боюсь, что сегодня уж торопиться не к чему.

Пойдем посмотрим.

Женщина бледная, чуть желтая, худая.

— Что, болит очень?

— Сил нет терпеть.

Нога синеватая, мраморного вида. Ногти синие. Нога уже мертвая. Ногу не спасти. Надо отрезать.

— А сейчас не легче? Все еще болит?

— Очень, очень болит.

— А что же вы не сказали вовремя, что болит?

Зачем я это спрашиваю? Какие-то дурацкие вопросы. Как будто это имеет значение теперь.

— Да сама не знаю. Сердце ведь у меня болит: я про ногу ничего и не говорила.

— А вы ходили, лежали?

— Нет, мне сказали, чтобы я не двигалась — я лежала спокойно.

Нога, безусловно, погибла.

— Ничего не чувствуете ниже колена?

- Ничего.
- Как чужая?
- Как чужая.
- Мертвая?
- Как мертвая.
- Она уже у вас мертвая — нога. Не ваша.
- А как же?
- А так — нога для вас уже чужая.
- А как же ходить-то?
- Да, эта нога мертвая. Она будет только отравлять весь остальной ваш организм. И сердце тоже будет травить.
- А что же делать?
- Да ее уже не вылечишь. Она уже умерла, нога.
- Только нога?
- Может, конечно, и вверх поползти, но это мы пресечем.

- Как пресечете?
- Убрать надо ногу.

Наконец-то сказал. До чего ж трудно. Желудок убрать — это легче сказать. Легче ведь и согласиться. Хотя, если подумать, то, конечно, должно быть наоборот.

- Что это значит — убрать?
- Ну, она у вас мертвая, чужая. Отравляет только.
- Что — ногу отрезать?
- Ну да, ампутировать.

Всякими такими словами всегда пытаешь прикрыться; но ведь смысл не затуманишь, он такой удивительно голый: ногу нужно отрезать.

- А без ноги-то как же?
- Она еще до конца не поняла.
- Она же все равно мертвая.

Что без ноги! У нее такой порок, что она может умереть и без всяких операций. А с операциями и подавно. А гангрену тоже нельзя оставлять. Другого выхода нет. Черт возьми! Ведь если она умрет в терапии, без операции, скажут:

«Бог прибрал». А у нас, у хирургов, после операции: «Зарезали». Но другого выхода нет.

— Что! Ногу отрежете?

Теперь только начинается.

— Да ее уже нет у вас. Ну, вы подумайте. Мы вас не торопим. Мы через полчаса придем.

Я просто постыдно сбежал. Нет, к этому невозможно привыкнуть. Эти больные легко соглашаются на серьезную сердечную операцию. А вот ногу отрезать...

— Ребята, скажите сестре, чтобы родственников нашли и прислали.

— А где же их найдут?

— Тут же все рядом. Она здешняя или привезли ее?

— Привезли.

— Тогда хуже. Ну, пусть позвонят в деревню. Надо, чтоб приехали.

— Да они здесь, наверно. Ее соседи по палате давно уже звонили.

— Спросите у сестры.

Я сижу на улице и жду. Чего жду, сам не знаю.

Тут есть студент наш, с последнего курса. На лето он приехал сюда поработать. Работает врачом. Говорит, что есть здесь лекарства, которые в Москве весьма дефицитны.

А почему?

Кто его знает. Может, снабжение хорошее, а может, пользуются ими мало — не знают.

Идут родственники. Мужчина и женщина. Оказывается — муж и сестра. Так, мол, и так, рассказываю.

— Как же это можно — операцию? Ведь когда привезли ее, врач сказал: лежать и не двигаться. А тут вдруг сразу операция. А потом скажете: «Померла, не выдержало сердце».

— Все это так — и двигаться ей действительно нельзя было, и сейчас нельзя. Но у нее осложнение. Сгусток крови застрял в артерии, в ноге. Кровь туда не проходит, нога без

питания — она и умерла, нога. Если ее оставить, она будет отравлять весь организм. Человек умереть может.

— Ну так надо вытащить этот сгусток.

— Нога уже умерла — поздно.

— А чего ж раньше не сделали?

— Теперь об этом что говорить. Уже поздно.

— Как это «что говорить»?!

— Но ведь вы сами не сказали, когда у нее боли появились.

— А это тогда началось?

— Наверно.

Хорошо, они оба вчера были, а то бы сейчас начались обвинения.

— А она не умрет?

— Она очень тяжелая. Сердце очень плохое. Но оставить такую ногу — безусловно умрет.

— Пойдем с ней поговорим.

Мы остались с местным хирургом.

— Здесь ведь когда умрет больной — это не то что в городе. Это все на виду. И ты на виду. И ты принимаешь участие во всех этих процедурах. У вас ведь как: умер больной такой-то. Ну, например, Васильев. А здесь — дядя Вася умер, тетя Паша. А потом еще и на поминки приглашают. А чуть выпьют — сразу: «Зарезал!» Поди-ка объясни. Идемте в ординаторскую, попьем чайку.

Под окном разговор.

— Конечно, один говорит — не двигаться, другой — операцию надо делать. Конечно, помрет. Куда ж деваться.

— Что делать-то будем?

— Как она.

— Она-то говорит — больно. Согласна.

— Ну, согласна, тогда пойдем прощаться с ней.

Нет, это нельзя. Надо их перехватить. Сейчас устроят такое прощание, что до операции дело не дойдет.

Бегу к палате, чтобы их перехватить.

— Ну как она?

— Она-то согласна, да мы сомневаемся.

— Ну, милые мои, жить-то ей. Нельзя так. Вы к ней больше не ходите. После операции поговорите.

— А увидим мы ее после операции?

— Должны. Другого выхода все равно нет.

— А вы откуда — из области прилетели?

— Из Москвы.

— Ну ладно, доктор, мы подождем тогда.

Москва на них действует как выстрел. Сразу споры кончаются. Тоже нелепо.

Хирург попросил меня оперировать. Он и сам оперирует это не хуже, а может, и лучше, но конъюнктура! Он прав.

Больная уже на столе. Делаем под местной анестезией — наркоз здесь дает сестра. Это, конечно, ситуация, когда местная лучше. Для такой тяжелой больной сестры-наркотизатора недостаточно; сюда бы нашего анестезиолога со всеми своими бебехами. Тогда бы, безусловно, лучше под наркозом делать. А при старых видах наркоза, какой здесь могут дать сестры, она может заснуть и не проснуться...

Да, очень нам мало жить приходится. А мы все ускоряем и ускоряем темпы. Наверно, сейчас люди с разницей в пятьдесят лет больше отличаются друг от друга, чем это было в прошлом веке. А что дальше? Пусть после меня не будет потопа, но все интересное, что должно быть, хочется, чтобы было при мне.

— Можно начинать анестезию?

— Да, пожалуйста.

Саша мне помогает. Андрей стоит в головах у больной. Мы вводим новокаин. Дай-ка я еще посмотрю на больную.

— Ну, как дела?

— Ничего. Страшно.

— Вот уж напрасно. Теперь будет все в порядке.

— Не смерти страшно. Боли боюсь.

— Больно не будет. Ничего не будет.

«Ничего не будет» — своеобразное утешение.

— Хватит с этой стороны новокаина?

— Да, пожалуй. А сюда я еще пару шприцов дам.

Пирогов, говорят, за мгновения эту операцию делал. Конечно, без обезболивания надо было спешить чрезвычайно. Во многом развитие оперативной техники приостановилось. Прогресс идет по линии наркоза, инструментов, лекарств — а руки двигаются, как и тридцать лет назад. Зажимы кладут так же и столько же. Разрезают так же. Этого не может быть. Этого не должно быть. Все должно меняться. А во время операции не надо думать, как делать, — это должно быть в крови. Во время операции надо думать, как удобнее в этот раз.

— Давайте скальпель. Саша, бери крючки. Я разрежу кожу, а ты края крючками раздвигай.

Кровь идет, значит, хорошо. Значит, здесь еще нога здоровая. Ниже крови наверняка нет. Кожу надо оттянуть кверху.

— Саш, обхвати кожу и держи, натягивая.

Интересно, о чем сейчас больная думает. У меня мысли скачут. А она, наверное, только об одном и думает. А может, не думает. Во весь мозг сплошное ожидание неизвестно чего. Боль даже немножко бы отвлекла ее. И вообще, раз болит, значит, существуешь. Местная анестезия — это очень тяжело. Лежишь. Тебя режут. Думаешь чего-то, потому что не думать ты не можешь, ибо существуешь. Cogito ergo sum*. А Саше я все равно должен говорить.

Приглушенным голосом, точно из-под подушки, надеясь, что она не слышит:

— Здесь мышцы пересекаются одним круговым движением. До нерва. Нерв отдельно. Я пересеку, а ты мышцы кверху оттягивай. Когда мы кончим, кость должна быть короче всех остальных частей культы.

* «Я мыслю — следовательно, существую» (Декарт) (латин.).

Андрей вытянул шею в нашем направлении. Жираф. Слушает. Он тоже хочет услышать.

— Пилу, пожалуйста.

Когда кость пилишь, она пахнет как будто паленым чем-то.

Саша не выдерживает. Вытягивает и он шею к моему уху.

— Костевич-то как пахнет. Первый раз я это вижу. Вернее, нюхаю...

Я опять резонерствую. По поводу «костевича», говорю, что не уместно и отдает цинизмом. Самому мне немножко стыдно: Саша не циник. Но ведь что-то сказать надо. Острота-то ведь действительно совсем неуместна. Впрочем, он не острит. Просто привычка.

Осталось сшить. Это недолго.

Опять объясняю, почему рубец формируется на задней поверхности культи.

— Чтобы рубец не был опорной точкой в протезе.

Эк о чем я — о протезе! Весьма, весьма не известно — сможет ли больная ходить, даже если выживет.

После операции родственники меня спрашивают: не по халатности ли здешних докторов все это случилось.

Сама профессия (!) заставляет врача быть добросовестным и даже больше, чем он бывает в другой своей жизни, не на работе. Профессия! А не только личные качества человека.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЯЗЫВАЕТ

Как-то в Москве я сел в такси. Называю место.

— Ох ты, черт! Оттуда порожняком идти. Невыгодно.

— Это же Москва — не загород.

— Мало ли Москва. Невыгодно это мне.

— Ну что поделаешь. Работа.

Взрыв.

— Работа! Работа! А ну вылезай! Не повезу. Ишь, работа ему! Вот и иди!

Типичная истерика. Я пытаюсь втолковать, что на работе так не ведут себя.

— Иди, иди! Вон милиция, к ним обращайся.

Так и сказал.

Я действительно пытался обратиться за помощью к милиционерам, но они отказались связываться с таксистом из-за такого пустяка.

— Возьмите другую машину, — посоветовал мне старшина, сидя верхом на мотоцикле.

— Я-то возьму, но вы-то...

— А я не могу ему приказать ехать с вами. — Дальше он доказал преимущество колес перед ногами: мотоцикл тронулся и уехал.

Ни один самый плохой, самый недобросовестный врач такой ситуации не создаст. Правда, может создать другие: из-за, казалось бы, совсем пустяковины, какой-то мелочи человек умереть может. Поэтому и обязывает профессия. К добросовестности обязывает. Хочешь ты или нет, и какой бы характер у тебя ни был...

Мне починили ботинки, а на следующий день они опять разорвались. Я старался быть как можно тише и вежливее в мастерской. Иногда вылезает откуда-то изнутри раб, разговаривающий с гегемоном, сюзереном. Это бывает. Вот я и говорю почти заискивающе:

— Извините, пожалуйста. Вчера я получил у вас туфли; так вот видите, все оторвалось, нельзя ли...

Тоже взрыв.

— Мы только плохо работаем?! Вы хорошо работаете?

По-видимому, что-то случилось перед этим.

Да-а, хотел бы я посмотреть на хирурга, который сделал операцию, а нитки до конца не завязал. Или не проверил, как зашил.

Явно разозлившись, у меня взяли туфли и приколотили подошву гвоздями.

Больше я эти туфли не ношу.

Хотел бы я посмотреть на врача, который назло лечит. В другой раз, мол, не будешь канючить.

Может, я неправильно ставлю акценты? Как в «Кондуите» и «Швамбрании» Кассиля. Когда раковина засорялась у доктора наверху, из подвала поднимался рабочий депо и чинил. Когда рабочему из депо надо было написать письмо в деревню, просил доктора, и тот писал. Но этажи были недовольны друг другом. Внизу говорили: «Ты вот полазил бы на карачках под паровозом, а то велика штука — перышком чиркаты!» А доктор говорил: «Подумаешь, раковину починил... Ты вот мне сделай трепанацию черепа».

Может быть, я тоже не совсем прав, но в общем и там и там стараюсь взять основную работу, а не побочные умения. Взять их на основе общей, а не профессиональных этик.

О РАБОТЕ ВРАЧА МОЖНО ПИСАТЬ КРАСИВО

Больная должна жить.

Как бы мне хотелось, по примеру многих «классических» описаний хирургов, сдергивая перчатки с рук, бросить: «Больная будет жить!» Но... я не волшебник, даже если немножко и шаман.

Я думаю, что не совсем правильное отношение к работе врача порождают не только бездумные фельетоны об их плохой работе и халатности, но и преувеличенные, ложнопатетические описания их красивой и даже героической работы.

Чрезвычайно приукрашенные описания, даже слегка приукрашенные описания работы хирурга создают впечатление, что хирурги, если хотят, могут все. Вокруг хирурга начинает светиться нимб — принадлежность святого, а ныне иногда корона шарлатана. Появляется ощущение, что хорошие врачи могут все, плохие всего не могут. Чем более медицина будет становиться на рельсы точных наук, тем меньшим будет различие между хорошим и плохим врачом. Медицина уже доста-

точно наука, и в описаниях нашей работы надо исключать ложную патетику, способствующую нагнетанию тумана.

«Я верю в медицину. Насмешки над нею истекают из незнания смеющихся. Тем не менее во многом мы ведь действительно бессильны, невежественны и опасны; вина в этом не наша, но это именно и дает пищу неверию в нашу науку и насмешкам над нами.

...Именно потому, что сами мы скрываем от людей истинные размеры доступного нам знания, к нам и возможно то враждебно-ироническое чувство, которое мы повсюду возбуждаем к себе.

...Есть же, значит, что-то, что так восстанавливает всех против нас. И мне казалось, что это «что-то» есть именно окутывание себя туманом и возбуждение к себе преувеличенного доверия и ожиданий. Этого не должно быть.

...Есть, правда, истинно интеллигентные больные, которым не нужно полушарлатанское «хорошее дыхание», которым более дороги талант и знание, не желающие скрывать голой правды. Но такие больные так же редки среди людей, как редки среди них сами талант и знание».

Так писал Вересаев еще в конце прошлого века. Не правда ли, сколько знакомого! А тут еще создают нам фальшивые нимбы адвокаты наши.

Недавно я читал очерк о хирурге. О работе врача можно писать красиво. О работе хирурга легко писать чрезвычайно красиво.

«...Третий час склоняется над операционным столом. Резким голосом бросает отрывистые слова ассистентам, которые действуют как хорошо слаженный механизм, подчиняясь слову, жесту, движению брови.

— Зажим!

— Тампон!

...Он властен, нетерпелив и не прощает оплошностей, даже самых пустяковых.

...Его... глаза блестят..., седеющие брови сдвинуты на пе-

реносице в жесткий узел мускулов, как у стрелка, отражающего атаку... резко стягивает резиновые перчатки, швыряет в таз, снимает операционный халат и идет к умывальнику. И на ходу бросает:

— Будет жить!

...Достаёт папиросу, закуривает. Не докурив и до половины, бросает и тут же прижигает новую.

...руки... полные нетерпеливой энергии...

...поднялся, прямой, подтянутый, решительный».

Дешевые приемы бульварной хирургической романтики!

Можно и посмеяться и ухмыльнуться: «Еще одна полупуподия: Зажим! Тампон! Умные руки».

Но это не смешно.

Очерк посвящен мужественному, большому человеку. Хирургу, так сказать, до последней капли крови. Смертельно больной человек, сознающий это, продолжает работать.

Перед мужеством его, перед светлой памятью его — шапки долой!

Но это его личное мужество. Собрав последние силы, хирург бросился на борьбу со многими смертями, на борьбу со своей смертью. Немного людей, у которых найдется столько же сил, столько же мужества.

Но описана эта борьба бездумно. Описанная борьба — безумна. Это не борьба — это игра со смертью. С чужими смертями, со своей смертью.

Автор подчеркивает эту игру не только в медицинской его деятельности, но и орнаментирует ее «замедицинским» поведением.

«...торопится включить трегью скорость. Он мчитя по городу так, что ветер свистит за окнами».

Среди хирургов существует почти писанный закон: если хирург чувствует себя усталым, слабым, неподготовленным, он обязан сделать больному лишь минимальную операцию, направленную на спасение жизни. И только! И никакого радикализма. Никто не дал нам права рисковать жизнью больного.

Больной хирург — большой риск. Внезапная боль, внезапная слабость — возможно тяжелое осложнение.

Очерк создает впечатление, что других хирургов вокруг нет. Есть герой, хирург-одиночка, на котором держится вся работа в области.

Красивость хирургической работы, красивость, лежащая на поверхности нашей работы, все время уводит автора в сторону, и каждый раз появляется фальшь, которая больно ударяет по нашей работе, по отношениям больных и врачей.

В погоне за этой красивостью автор все гиперболизирует. Больной — «крайне тяжелое положение». Конечный результат операции уже ясен при ее завершении: «Будет жить!»

Если бы так можно было сказать!

Много сделано во многих книгах, кинофильмах, спектаклях для того, чтобы иногда в операционных мы увидели цирковое представление.

Едва начав свою деятельность, некоторые хирурги начинают швыряться инструментами и перчатками; не говорить, не обращаться, а ругаться и распоряжаться. Это естественное следствие той игры, которую они сначала создали в своем воображении, а затем последовательно воплощали в жизнь. На маленькой операции, в которой нужно не столько напряжения, сколько внимания, они отдают все свое внимание созданию псевдонапряжения.

Они еще не понимают, что, когда хирург кого-то ругает во время операции, это не столько ругань, сколько подчас разрядка внутреннего нервного напряжения на большой операции. Резкие слова — это досадная внутренняя разрядка, и вовсе не обязательный атрибут. (Да и то, если подумать как следует, во всех случаях ругань, даже канонизированная ругань на операциях, — это либо неуверенность, либо распущенность.)

Пусть простят мне коллеги красивость и мишурность сравнения, но тем не менее хирург — это не кавалерийская лошадь, привыкшая к лихим наскокам, трубам и шуму, не цирковая, нуждающаяся в свете, зрителях, аплодисментах. Хи-

руг — это рабочая, вьючная лошадь, идущая через перевал по краю пропасти. Неосторожный шаг — летит в пропасть и лошадь, и поклажа, и, если есть, то и седок.

Как всегда, крайности сходны. Утрированные фельетоны об утрированно халатных, бездушных, преступных врачах в конечном счете оказывали такое же воздействие, что и красиво описанная работа хирурга в различных полугероических эссе, а то и целых романах.

Родственникам я, естественно, всего этого не сказал, а вот сейчас не удержался — говорю.

«ВСЕ В МИРЕ ОТНОСИТЕЛЬНО»

Сейчас мы лежим на краю поля и ждем самолета. Андрей пошел в поле и приволок оттуда около десятка осколков.

Саша ему:

— Брось, а то еще найдешь неразорвавшуюся мину или бомбу. Получим, как теперь любят говорить, предельную порцию емких воспоминаний.

В каждом из нас — и в ребятах, и во мне, а может, наоборот: и во мне, и в ребятах — в той или иной степени сидит сноб и заставляет на что-нибудь вокруг поглядывать немножечко свысока.

А ребята, конечно, знают и видят вокруг намного больше, чем мы в их годы. Сейчас они знают меньше меня. Но между нами разница — десять-пятнадцать лет. Эти десять-пятнадцать лет пройдут, по-моему, лет за пять. Они сейчас на уровне моих двадцати семи — тридцати...

Как это они поют: «Ах, как ярко светит солнце». Прямо в глаза. И провода по краю поля. Провода как сеть. Помню, я смотрел как-то на переплетение проводов над старой Арбатской площадью, когда она была еще маленькая, — ужас! Самолет же не может сесть на провода. Надо бы убрать провода. Поздно. Уже летит самолет. Прямо на провода. Со страшным гро-

хотом провода срезают крылья. И... я просыпаюсь от шума самолета.

— Заждались? Грозу облетал.

Снова в воздухе. Представляю себя летящим со скоростью света и думаю о теории относительности, которая почему-то выливается у меня во «все в мире относительно. Сто лет назад посылали на Кавказ на погибель, а сейчас на отдых». Просто я устал и спать хочу. Конечно, Толстой туда ездил, и было это чрезвычайно рискованно. Толстой — с ним все непонятно: родился через два года после казни декабристов, а в конце жизни на трамваях ездил и по телефону разговаривал. Вот дед Толстого — это да: белье стирать отправлял в Голландию. И самолетов не было — на лошадях... Мысли поскакали, опять засыпаю. Конечно, я устал...

Я уснул и спал до самого аэродрома, а проснулся как всем навязший в зубах мельник, который спал только, пока мельница работала, — проснулся от тишины, когда мотор перестал работать.

НЕДОВЕРИЕ ИЛИ ДОВЕРИЕ!

Прямо с аэродрома поехали в больницу.

У заведующей отделением:

— Ваши хваленые ребята!..

— Что такое?

— Сегодня на дежурстве стащили спирт.

— Не может быть!

— Вот, пожалуйста. Старшая сестра говорит. Сегодня Игорь оставался один с Мариной Петровной. Она отвернулась — и исчезли и Игорь и спирт. Марина Петровна жалуется.

— Да, да. Они наверняка стащили, — включилась Марина Петровна.

— Не знаю. Я все могу представить. Но этим ребятам я верю как себе. Я могу на них всю практику оставить. Конечно, все бывает. Сейчас все выясню. Если это так, они сюда придут и все расскажут сами.

Дальше разговор о всяких пустяках.

— Вы останетесь на чай? Сегодня суббота. (Вот только мне сейчас на чай и оставаться. Надо искать ребят.)

— Нет, спасибо. Мне надо уже бежать.

Прибежал домой.

Дома Борис и Костя.

— Вы когда-нибудь брали спирт в операционной?

— Один раз Игорь взял спирт с эфиром пленки сушить.

— Когда?

— Недели две назад.

— Сам взял?

— Что вы? Попросил. Дали.

— Сегодня мне сказали, что Игорь стащил бутылочку со спиртом. Утром после дежурства. Может быть?

— Все бывает. Но вряд ли. Нет оснований думать так.

— Я не хочу сам говорить с Игорем. Если это не так — не хочу оскорблять его таким подозрением. Выясните все, потом идите в больницу. Без него или с ним — сами решите. Если так — придите и скажите: «Бес попутал». Нет — доказывайте.

— Черт его знает! Он выпить-то может. Но честный человек.

(«Выпить может», — и сразу мысль: все может быть...)

Вот он, основной вред пьянства — недоверие. Да какое пьянство. Он же не пьяница.

— Мы все узнаем и сделаем как надо.

— Я пока не вмешиваюсь.

— Нет, не надо. Мы все сделаем сами.

— А где он сейчас?

— Черт его знает, где носит.

Червь раздражения и заведомого обвинения уже вполз в их души.

— Дай бог, чтобы это оказалось не так. И пусть лучше пойдет сам, если спер. Лучше наплевать себе в душу таким образом сейчас, чем остаться на всю жизнь человеком, преступившим дозволенное. Достоевский пишет, что в преступнике самый трудный момент — первый раз совершить недозволенное безнаказанно.

Резонер! Ментор! А спирт-то он и не брал. Все мои моральные поучения и схемы летят к черту. Митинг развел.

А кто ж брал спирт? Кто его знает.

Игорь спирта не брал. Ребята выяснили у него. Я им... и ему верю. Так для себя и решил: Игорь не брал.

В больнице.

— Люда, хочешь аппендицит сделать?

— Конечно.

— Переодевайся. Пойдем. Я скажу сестрам, чтобы мылись. Дежурные к моим студентам хорошо относятся.

А через десять минут: «Нет, оперировать ты не будешь. Помогать мне. Приказ такой».

И уже дома мне:

— Скажите, почему нам не доверяют? За что? Игорь не мог взять. Голову на отсечение даем. И даже если они думают так об Игоре, почему это тут же распространяется на всех нас?

— Я верю вам, но надо же их понять. В операционной пропало что-то. В операционной!

— Но как можно решать так сразу и категорично? Мы же люди. Игоря сразу же отстранили от работы, сняли с дежурств.

— Да вы поймите их положение. Им надо выбирать между вами и старшей сестрой операционной. Вы через десять дней уедете, а им работать вместе годы. (Очень аргументированно. Я с ума сошел!) Они в тяжелом положении сейчас. Налаживают совершенно новые формы работы. Многое по-новому, не-

привычно. Им наступают на хвост начальство, другие больницы, коллеги. А они делают свое дело. Дай бог, чтобы московские клиники такими были.

(Что я несу? А как налаживать работу по-новому, когда в общем-то старшей сестре верить нельзя? Выбрать сейчас спокойный вариант? Отвергнуть сейчас «абстрактный гуманизм» и нанести кому-то «конкретный вред», ребят незаслуженно обидеть, снять их с работы. На всю жизнь у них осадок останется. А как бы я сделал? И я бы так, наверно. Только ребят не обижал бы. Надо как-то мягче. Здешнему хирургу сейчас надо быть изворотливым и мудрым. А я-то тоже хорош гусь!)

— Но так тоже нельзя. Мы не заслужили недоверия. (Девочки немного иначе реагируют.)

— Вы работали хорошо и честно. Я вам верю. А на здешних хирургов не обижайтесь так же категорично, как они на вас. Подумайте, в каких условиях им приходится работать. Сами видите, к чему приводит категоричность быстрая и резкая, как военное решение. Здесь многие правы. Правда — не только ваша монополия. Есть ведь что-то между «да» и «нет». Есть же серый цвет между белым и черным.

В больнице Костя и Борис ведут тяжелый разговор с заведующей отделением.

— Мы убеждены и категорически утверждаем, что Игорь ни в чем не виноват.

— Не знаю. Но Марина Петровна исключается: куда девался спирт? Поймите же! Мы не можем так работать. Это операционная! Простите за грубость, но здесь людей режут. Вы понимаете это?

— Все так. Вы выбрали свою правду. А нам не верите.

— Вот вам верим, а Игорь потерял доверие.

— Он этого не заслужил. Он здесь честно работал.

— Все время честно. А сейчас все пропало.

— Из-за одного недоказанного подозрения?!

— Операционная! Вы понимаете это? Вера должна быть безоговорочна.

— Ну, а если вы ошиблись, значит, верите сестре, которая врет? Операционная сестра! В операционной!

— Так сестра может искренне заблуждаться. Она честная — мы знаем.

— Все равно кто-то где-то врет. По-нашему, если вы считаете, что в операционной должно быть все чисто, честно и бело, — разберитесь во всем до конца.

— Разве можно сейчас устраивать следствие? В нашей работе это приведет к такой нервозности, что операции надо будет отменить.

— Можно и так, если вы чистоте и честности придаете такое значение. Игоря вы уже окончательно отстранили от работы?

— Да.

— Тогда и нас снимайте с дежурств.

— Но это же нелепо! Мы вам верим.

— Во-первых, не верите. Теперь здесь говорят: «Вот вам нынешние студенты». Работать под недоверчивыми взглядами мы не можем. Минимум свой мы выполнили. Сеять недоверие в операционной мы не хотим. Мы тоже считаем, что это нельзя. А Игорь ни в чем не виноват. Нам очень жаль. Мы здесь очень много получили и получаем до сих пор. К нам очень хорошо относились. Но что делать? — Это все они оба говорили вперевивку, но в общем довольно слаженно.

«Платон, ты мне друг, но истина мне дороже!» Ей тоже все это очень неприятно.

— Как хотите, ребята. Мне тоже жаль. Вы хорошо работали. И Игорь тоже хорошо работал.

Спирт потом нашелся. Однако, конечно, всегда проще кого-нибудь обвинить, особенно когда есть объект подходящий.

Когда через два дня спирт нашелся, я кинулся к ребятам.

— Спирт нашли.

— Врут.

— Почему?

— На тормозах спускают. Им это все неприятно. А кто-то спирт стащил.

— Да бог с вами! Откуда это в вас?

— Два дня спирта не было, вдруг нашелся.

(Сеятели!)

БАНКЕТ

Я стою в зале, в нашем общежитии. Вдруг люстра вздрогнула и закачалась. Шум. Еще раз.

— Кто это на чердаке?

— Кто-то из кекэмбесов. — Так они друг друга называют, почему-то приспособив английское слово *cusambeg* — огурцы.

Действительно два «кекэмбеса» слезают сверху. В руках семь голубей.

— Зачем вы это сделали!

— У Мишки день рождения. Нет денег на закуску.

Пахом опять импровизирует что-то тягучее.

— Это плач по голубям.

— Пахом! Пить будешь?

— Нет. Я пью только филевскую водку.

— Пижон!

Ребята смеются. Его так и зовут: «филевская водка». Он считает, во всяком случае говорит, что в Москве самая лучшая водка с филевского завода. Никто даже не знает, что есть такой. Может, и он не знает.

«Я пью...» Он не пьет. Выпьет глоток, идет в угол, садится на пол с гитарой и тихо бренчит.

«Филевская водка» для меня неисчерпаем, как и большинство из них: первый разряд по боксу, мастер по мотоспорту, знает и любит музыку, много читает, говорит по-английски, окончательно добил меня — учился в цирковом училище.

Впрочем, может быть, тоже элементы «филевской водки».

«Современная молодежь»!

Вечер. Мишкин день рождения.

Орут все. Орет магнитофон. Орет проигрыватель. Не понимаю, почему все это надо запускать на полную мощь? Почему надо говорить на сто пятьдесят процентов своих голосовых данных? Даже когда больной говорит со мной очень громким голосом, я с трудом думаю.

Впрочем... Почему надо говорить в пятьдесят процентов своих голосовых возможностей?

Твист!

Ребята дают!

Саша танцует самозабвенно и бездумно. Он двигается и любит, радуется открывшимся двигательным возможностям. Он извивается штопором. Ноги ходят в сторону, но всегда в одну. Обаятельная морда, ищущая улыбка. Он хочет понравиться. Для того и танцует. В нем есть какая-то жесткость. Дориан Грей. Голуби.

Пахом и внешне боксер. Грубоватая фигура, грубоватое лицо. Только глаза детские. Улыбка и глаза — хорошие. Он не старается произвести впечатление. Музыка отодвинула «фильмовскую водку». Он веселится.

Устали. Пахом остановился и выпрямился. Саша отдыхает, как и танцует: шумно, радостно.

Танцует студент-иностранец с Востока. Учит твисту своего товарища. Танцует он хорошо. Рост средний. Смуглый, но не черный. В очках. Хороший студент. Хороший парень. Ничем не отличается от наших ребят. Танцует. Он стал меньше. Спина округлилась. Она подогнулась сверху и с боков. Ноги подогнулись. Руки согнулись. В локтях. В кистях. Он танцует, постепенно набирая темп. Партнера обходит со всех сторон. Обволакивает. Он легок. Он гибок. Ноги скользят, а не ходят. Руки подбираются к партнеру. Вот уже вокруг партнера. Вот уже схватил. Вот опять в стороне. Сам в одной стороне. Руки в другой...

Багирал

Великолепно танцует! К нам спиной. К нам лицом. Кожа стала темнее. Очков не видно.

«Багира! Мы с тобой одной крови, мы с тобой говорим на одном языке, Багира!»

Устали танцевать. Но энергии еще полно. «Льется непри-
нужденная беседа» — все кричат, перебивая друг друга.

«Студенты ведут большой разговор».

Как всегда, начинает Борис. Он вдруг задает вопрос, ка-
залось бы, самый банальный. В ответ обрушивается каскад из
слов и фраз. А он подначивает. Но все это всерьез.

Его так и зовут: «Старик (он самый старший из них) —
подносчик снарядов».

Сегодняшний снаряд:

— А скажите, зачем, собственно, существует человечество?
Какова функция человечества?

Завелись с пол-оборота. Тут же спор, через минуту уже
крик — крещендо.

— Для чего живое (и человек тоже) существует?

— Чтобы было лучше... чтобы узнать... смочь... чтобы...

Борис вытащил бумажку. Заранее, по-видимому, заготовил.

— Вот как Джордано Бруно представлял идеальное
общество, «...где научное исследование не есть безумие, где
не в жадном захвате — честь... не в обжорстве — роскошь, не
в богатстве — величие, не в диковинке — истина, не в зло-
бе — благоразумие, не в предательстве — любезность, не в
обмане — осторожность, не в притворстве — умение жить, не
в тирании — справедливость, не в насилии — суд». Придет
идеальное общество, а тогда и узнаем, для чего все это было и
каков смысл.

— К чему ты это? Это тут ни при чем. Это же не цель
человечества. Ты о средствах. Какова цель всего человечества?
Конечная?

Что-то у Бориса не так получилось. Наверно, не тот сна-
ряд подносил с самого начала. Не в том направлении послать
его хотел.

Его уже не слушают. Снаряд он уже все равно поднес.

— Чтобы жить! Да! Чтобы жить... Прогресс — это борьба со смертью.

Это крик не о смысле жизни. Это крик о действиях в жизни.

-- А зачем открывали полюса? И так знали, что там лед и холод.

-- Чтобы открыты!

-- А зачем открывали Америку?! А зачем летают в космос?!

— А зачем забирались на Эверест?

— Человечи потому что!

ГОДНАЯ КРОВЬ

Первый раз я увидел его в комнате общежития, когда вошел познакомиться со всеми ребятами, которые будут со мной на практике.

Один занимался налаживанием магнитофона.

Двое играли в карты.

Один читал газету.

Еще один смотрел в окно, курил сигарету и пускал колечки дыма в форточку.

Он же стоял около своей кровати, в руках у него были здоровые гантели. Он занимался гимнастикой.

— Вы чего в неурочный час?

— А у него всякий час урочный для гимнастики, — отозвался в окно смотрящий.

Дружно засмеялись игравшие в карты.

Он продолжал приседать и что-то выделывать с гантелями и со всем телом.

— А сколько весят гантели?

— Двенадцать кэгэ каждая, — без всякого уважения буркнул из-за газеты еще один житель комнаты.

— Не тяжело?

— Нормально.

— Больно тяжелые гантели-то.

— Годятся.

— Сколько же раз в день вам удается заниматься этими манипуляциями?

— Раз пять.

— И столько же раз спать, — опять буркнул читающий абorigine комнаты.

Больше я не спрашивал, так как понял, что своими вопросами сбиваю ему ритм дыхания.

Вскоре гантельщик закончил свои процедуры, принял порцию витаминов, во множестве разбросанных на тумбочке, и сказал:

— Нормально.

Мы пошли обедать. Солнце жарило со страшной силой, и я не преминул брюзгануть на него:

— «Эх, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи».

— Зря вы. Здесь и пыли нет, да комаров и мух тоже немного. Нормально.

Попробовав суп, он утвердил:

— Годится рубон.

В конце же обеда, выпив стакан молока, сказал:

— Скисает. Конечно, студент голодный, ему что ни поставь, все съест.

Ребята накинулись:

— Да уж ты голодный! С чего-то ты голодный, парень? Жрешь не меньше. А кислое — не пил бы!

— Ну ладно, ладно. Все нормально.

Ребятам неудобно перед женщиной, которая подает еду. Здесь же, в столовой, в коридоре двое пожилых людей ругают моих ребят. Может быть, это ответ на всхлип о голодном студенте?

— ...иду, а навстречу молодых пара. И без всякого он ей лапы свои на плечи и идут, обнявшись. Где ж видано такое! А на груди, конечно, значок — комсомольцы. Срамота!

Один из студентов прошипел:

— Что, в комсомоле новый способ размножения придумали? Почкованием?

Гантельщик густо, отрывисто захохотал, как заквал. Острога оказалась по душе.

Мы вышли. В коридоре стояли пожилые люди, на шее у одного из них я увидел цепочку с нательным крестом — это дало мне право сказать:

— «Не говори: «Отчего это прежние дни были лучше ны-

нешних?» Потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом».

— Что?! — обиженно спросил один из них.

Я ответил:

— Библия.

Не поверили, наверное.

Все это я вспоминаю сейчас, когда в операционной идет обычная борьба за жизнь. Ситуация довольно тривиальная. Тяжелая поездная травма. Молодая женщина. Шок. Переломы ребер, ног и разрывы органов в животе. Операция закончена. Выводят из шока. Не хватает крови.

Я смотрю, кто из ребят как помогает, как принимает участие, как волнуется.

Когда я узнал, что привезли такую тяжелую больную, побежал к ребятам в общежитие — погнать их в больницу.

Один читал журнал.

Один молча курил.

Двое в зале играли в бадминтон.

Один тихо, бессловесно брэнчал на гитаре.

А он спал. В руках он держал «Клинические лекции по терапии». На стуле рядом «Клиническое толкование лабораторных исследований». На тумбочке «Клинические очерки по фармакологии».

Ребята встрепенулись — кто стал собираться, а кто подхватился сразу и побежал.

А он спал.

Я разбудил:

— Вставай. В больницу привезли тяжелую травму. Беги в операционную.

— Я после дежурства.

— Ну и что!? Один, что ли? Подумаешь, дежурство! Что ж, приходите утром и спать?

— Я всю ночь не спал.

— А как мы, врачи, после дежурства? Ведь не домой идем, а остаемся работать.

Я, конечно, совершил ошибку. Надо было повернуться и пойти, а не разводить дискуссии. Не давать повод разглагольствованиям.

— Пока есть возможность — надо спать. А будем работать — будет видно. — Встал с кровати, проглотил витамины и взялся за гантели.

Я повернулся, вышел из комнаты и пошел в больницу.

Смотрю, он выскочил из школы, обогнал меня, взглянул на бегу и устремился в сторону больницы.

И не надо было вступать с ним в пререкания. Ишь, как побежал!

В операционной я гость. Я просто смотрю. Работают свои, местные, врачи. Если будет нужда во мне — скажут.

Ребята предлагают поднимать давление различными известными им препаратами. Не хватает теоретической логики. С точки зрения практики — правы: шок, низкое давление. Надо его поднять. Значит, нужно использовать соответствующие препараты.

А нет, чтоб подумать, что шок с кровопотерей, что мало гемоглобина, что кислород поэтому некому разносить по всему телу. Значит, лучше перелить кровь и добавить гемоглобин, а препараты — это подспорье только должно быть.

Мы в институте часто идем на поводу у студентов. Они все просят — практику, практику. Вот и таскаем их на перевязки, да учим делать уколы, да показываем, как кровь переливают. Подумаешь! — это и без врачей можно делать. А лучше бы во время занятий теорией больше занимались да к книгам приучали бы. А практику пусть сами постигают, а после или по ходу пусть спрашивают — кому интересно. Да и на практике пусть сами хватают больше. Что, кстати, они и делают. Пусть они сами будут заинтересованы в практике. А то — адреналин, норадреналин, кортизон, поливенол. Их вон сколько придумали! Препараты применить можно — да кровь нужней. Читали бы больше лучше. Толстого, например. Как Кутузов при Бородине. Как идет естественно — так и помогай. А то

они как научно, так и делают, а обстоятельства-то другие. Не бороться с природой, а использовать то, что создает естество. Не химические препараты, а естественную кровь. Наберут так практики побольше — соблазнительно это — узнают все, «как» делать — уже специалисты. И лишь чуть-чуть, «когда как» делать.

Вот так, как-то нелепо я размышлял, почти полностью отключившись от реальной обстановки, пока меня не вернуло к жизни тревожное: опять давление падает!

— Переливайте кровь.

— Последняя ампула кончается.

— А где ж кровь? Заказывали ведь?!

— Говорят, самолет вылетел. Или сейчас должен вылететь.

— А-а, нечистая сила! К тому ж и группа крови редкая.

Гантельщик сидит на свободном операционном столе и смотрит. Лицо немного испуганное. Глаза — кругляшки. За его спиной, облокотившись на стол, стоит другой студент и слушает, что говорит ему этот. А этот, гантельщик несчастный, говорит очень обидные для меня вещи. И мне просто плакать хочется.

— Не-е, хирургом не пойду. Вот такие-то штуковины! Да это ведь каждый день может быть. Да еще дежурства.

А я-то по наивности считал, что в этом и есть основная привлекательность хирургии для несмышлennyшей. Идиот я!

Второй студент посылает его к черту, и мне становится чуть легче. Но тот не унимается.

— С такими дежурствами и порубать не успевать будешь... — И дальше мечтательно. — Не-е. Я пойду в терапевты, или в невропатологи, или еще лучше — в психиатры. Там нормально. Это годится.

Я отвернулся. Я вынужден делать вид, что не слышу. Что я могу ему сказать?! Да еще сейчас! Что и у этих врачей своих горестей и забот хватает. У нас иногда не успеваешь поесть, а у них иногда кусок поперек горла встать может. У нас

могут не дать спать — а они и сами не уснут. А для психиатра у гантельщика слишком много заботы о себе, о теле своем, и слишком маленький запас слов. И впрямь, шел бы он лучше своими гантелями заниматься. И впрямь, на черта я его сюда притащил?!

Второй студент — тот, что в окно смотрел, — вдруг взрывается:

— Чем глупости-то говорить, дал бы кровь свою. Ведь знаю, что у тебя такая же группа. И резус-отрицательная. А больше наверняка ни у кого нет. Женщина-то погибает.

— Да я после дежурства. Думаешь, можно?

— А чего ж! Дашь и пойдешь спать. Дашь — тебе донорский рубон и спать, и завтра не работать — спать. (А я думаю: «Неужели он, дав свою кровь, сможет уйти, не дождавшись результатов?») Договорились, да? — И сразу к врачам: — А вот у нашего товарища такая же кровь. Может, перельем, а? Он готов.

Его уложили на тот стол, который только что был его сидением, подкатили его стол к столу больной. Составили два стола. На одном лежит спаситель, на другом...

Да! После переливания уже точно: ...на другом лежит спасенная. Не хватало именно этой капли крови. Потом-то уже привезли. А вот этой капли как раз и не хватало. Она-то и стала самой главной каплей. Его кровь и оказалась самой главной каплей. Она-то более всего и пригодилась. Она-то и спасла.

Ну, а почему же его кровь не будет годиться? Почему бы не спасти?

Здоровый. Занимается гимнастикой. Поддерживает в себе достаточный уровень витаминов.

Это все нормально.

Все у него нормально.

ПЕРВЫЙ РАЗ

Володя еще ни разу не делал такой большой операции. Шесть лет входил он в медицину. Теперь осваивает хирургию. Пока его потолок — аппендициты, грыжи и даже внематочная беременность.

Сегодня — удаление желчного пузыря. И я ему помогаю. Представляю, как он волнуется. Первый раз! Хотя сам он уже много раз помогал в таких операциях.

Я уже не помню, как волнуется хирург, делающий свою первую большую операцию. Хотя это ведь было совсем недавно. Хирург, прежде чем допускают его к этой операции, уже много раз ее делал, но в роли помощника. Он лишь участвовал. И все-таки делал. Он помогает, а мысленно делает сам.

Ошибку ему сделать трудно: помощник, он же инструктор, он же учитель — как хотите называйте его — вовремя предостережет. При грубой ошибке, при неумелости, при несообразительности, растерянности, при том, чего быть не должно у хирурга, помощник просто меняется с ним местами.

Пока Володя учится диагностировать. Я до сих пор не знаю, можно ли этому научиться. Знать-то надо многое. Но и этого мало. Можно ставить диагноз, раскладывая пасьянс из анализов и симптомов, а можно творить, искать и находить. Ведь пока еще многое за пределами наших знаний.

У ребенка кривошея. Ребенок косит. Что же началось раньше?

Может быть, косоглазие: ребенок, наклоня голову, просто компенсировал дефект.

Может быть, голова с самого рождения была наклонена. Мышцы одной стороны шеи были короче. Значит, косоглазие — явление вторичное, компенсаторное. Поди заметь это в

первые месяцы. Решить этот ребус, решить, что лечить: шею или глаз. Такая задача стояла перед Володей. И он с ней не справился. Впрочем, с ней никто не справился. Все запутались. И этот случай надолго выбил Володю из колеи.

Опасно, когда такие ребусы попадают в начале пути. Начинаешь сомневаться в медицине вообще. И зря. В общем-то она кое-что может и даже очень много. Но человек смертен. И большие иногда умирают после операции.

Гибель больного после первой крупной операции молодого врача может уничтожить в нем хирурга на корню. На первой крупной операции риск должен быть минимальным (если это возможно).

Операция начинается.

Володя накрывает простынями больную. Мажет йодом живот. Я моюсь. Смотрю издали. Он смеется. Что-то говорит. Вовсе не бледный.

Волнуется или нет?

Стараюсь помогать молча и не лезть со своими советами. Моя задача не в том, чтобы сделать вместо него, а в том, чтобы не дать ему совершить ошибки.

Он весь ушел в работу. Он сейчас не волнуется. Волнуюсь я. Ему не до этого.

А стоит хорошо! Думает и о помощнике, стоящем рядом. Хирург, оттирающий ассистента, — хам. Помощнику иногда приходится стоять по несколько часов в нечеловечески неудобной позе.

Почему он разрезает кожу несколькими движениями? Надо сразу и на всю глубину кожи и жира. Этому же он мог научиться на других, на мелких операциях. Дышит тяжело, Володя дышит тяжело. Весь мокрый. Еще ничего не делает. Ну и резал бы сразу на глубину всего слоя. Сколько можно останавливать кровотечение? Эти сосудики мелкие. Их не надо перевязывать. Здесь кровь сама остановится. Четкие у него дви-

жения. А остатки перестраховки я из него вытрясу. Лично мне перестраховка хирурга беспредельно противна. Эмоционально противна. Свою трусость, отсутствие творческой смелости они называют «тщательностью». Как правило — это врачи-шаманы, догматики. Ничего нового они не воспринимают.

Однако этот зажим лишний... Вытереть надо — вслепую...

Шаманы-то — банальные догматики. Этот тип людей одинаков и в жизни и в медицине. В медицине — это всегда назначать пенициллин, всегда на третий день тащить тампон, всегда при том-то делать то-то, всегда при этом делать так-то. Все по правилам. Ситуация для них — ничто.

Однако что он делает? Сколько лишнего! Даже мышцы перевязывает. Бог мой, навесить столько железа! Все зажимы висят. Это же неудобно. Здесь, пожалуй, можно и подсказать. Много лишнего делает. Писатель сначала пишет, а затем выкидывает все лишнее. В операции тоже надо удалить все действия. Все эти ненужные вытирания, килограммы лишних зажимов.

Все ненужное уйдет со временем. После операции я ему все выскажу. Хоть и не раз ему говорил и раньше, но чтобы это принять, надо на собственной шкуре испытать.

Ишь ты! На меня прикрикнул. Молодец. Если по-настоящему ушел в работу, пиетета быть не должно. Ведь и мне надо следить за крючками. Впрочем, за этот окрик следует выдать. Ненавижу крик вообще. А особенно на операциях, и совсем уж ни к чему у мальчишки, у начинающего хирурга.

Вот же пузырь. Клади зажим и подтягивай. Нет, ему надо вытирать. Ну пусть вытирает. Все ему учтется после операции. Жаль, что нельзя записывать. Ну, ну, ну. Правильно. Теперь будет легко. Интересно, где он тут будет делать надрез? Сейчас посмотрим, смелый он или нет? Молодец! Правильно, по ходу дела стал меньше осторожничать.

А здесь надо и поосторожничать. Не разгоняйся! Артерия! Большая!

В животе у меня похолодело.

— Нет, нет, Володя! Ты видишь, что здесь? Так возьми за жми понежнее, да понадежнее. Тут надо все видеть. Не надо сейчас вслепую.

У меня уже чешутся руки. «Уймись, — говорю я себе. — Дай ему сделать все самому до конца».

Морда у него круглая. Глаза хорошие. Руки средней величины, но цепкие. Все-таки еще слишком округлые. Ничего. Вырастет. Изменятся и руки.

— Ты клади сюда зажим, а я второй положу. Можно зажимать? Ну, а теперь режь.

— Проверьте, пожалуйста, сами сейчас.

— Да, я вижу. Все прекрасно.

Ну давай. Так. Здесь правильно. Артерия осталась в стороне. Чего ты боишься? Давай дальше, парень!

Сейчас он кончит. Традиционное спасибо ассистентам, сестрам, анестезиологам. Хирург, когда кончает операцию, всегда благодарит помощников. Володя заслужил право говорить спасибо.

Теперь осталась ерунда. Успокоился. Тампоны уложил правильно. Зашивает. Зачем так часто? Опять перестраховка. Сейчас-то уже никакой опасности нет. Кончаем ко всеобщему благополучию. «Благополучие» — какое жалкое, гладкое слово! От него веет спокойствием. Нет — успокоением, добродетелью, большим животом и сытыми руками. Что-то медленное, солидное и ползучее. В хирургии не должно быть такого слова — «благополучие».

— Мне, пожалуй, можно идти. Зашьете сами. С тебя три звездочки после ее выписки. Спасибо вам. Ну я пошел.

Эх, спасибо-то я зря сказал. Его это право сегодня. А мне сегодня — получать благодарность. Ну да ничего не поделаешь. Уже сказал. Впрочем, он и не заметил. Хирург и не должен замечать, что делается за пределами операции. Он должен быть весь там. А остальное — без надобности.

А я чаще всего все замечаю. Не знаю, что лучше: замечать или не замечать?

ЧТО ИМ НАДО?



осподи! До чего же надоело морально удовлетворяться. Ну еще одна операция. Еще. Еще. Ласки хочу. Во время операции. И после нее. И от больных. Ой, как хочется, чтоб было просто хорошо!

Евгения Владимировна выходила из операционной и болтала, не следя, а может быть делая вид, что не следя, за моей реакцией. Она шла медленно, заложив руки за затылок. Как бы потягиваясь. Глаза у нее блестели. Губы что-то нервно хлопотали. А я не оглядывал ее фигуру — смотрел вперед, но отчетливо ощущал по голосу и по выговору, какая она ладная.

Я шел, и она мне нравилась. И ее костюм операционный, с белыми штанами, оканчивающимися чуть ниже колен. И то, что оставалось открытым у нее, нравилось мне, естественно, тоже. И то, что она много ниже меня. И то, что она говорила. И вообще хотелось биться головой обо что-нибудь, например об стену.

А она болтала, болтала. И я шел рядом. Слушал.

— Надоела мне хирургия. Надоели операции. Уйти бы. Уйти б от операций, больных, шаблона. Меня больные не волнуют, не раздражают — холодна. И все одно и то же, одно и то же. И надо всем висит общий глас — моральное удовлетворение.

А я иду и молчу. Кое с чем я согласен, а кое с чем и не согласен. И не такой уж я молчун, мягко говоря, а молчу. Слушаю.

— Говорят, я хорошо оперирую. И что толку? Только собственное самолюбие тещу. Так уж я могу помочь, как надо бы? Ну, не умирают у меня больные. Скажем, редко умирают. И что? Так и должно быть...

И улыбается, улыбается. А теперь я ее оглядываю. Смотрю

рю на ее фигурку — ну и что! Мне как-то все равно: ладная или нет. Да и слово-то противное — ладная. «Моральное удовлетворение»! И фамилия у нее странная — Кампанелла. И откуда у русского человека такая фамилия?

— А вообще-то операция сегодня была интересная. — Мы уже сидим у нее в кабинете. — Что там делалось с желчными путями, ты бы знал! Я и так думала, и эдак принаравливалась. Никак не могла восстановить. А потом решила на такую штуку. — Она рисует схему операции и рассказывает. Вот ведь, зараза, придумала! Наверное, это и был самый лучший выход для нее... Или для больного.

А когда она рассказывала и рисовала, голова у нее немного вытянулась кверху и наклонилась. Чуть-чуть бы красноватости — и чистый Модильяни. А вспомнил я Модильяни, потому что перед этим она успела мне сказать что-то о нем, между двумя всхлипами о надоедливости морального удовлетворения.

Вошла сестра.

— Евгения Владимировна, там к вам несколько больных прислали на консультацию.

— Давай заводи их. Но не уходи — запишешь, если что надо будет.

Конечно, она диагноз ставила почти в дверях. С таким внутренним беспокойством на фоне знаний и пятнадцати лет увлечения своей работой естественно, что больные с типичными заболеваниями ей ясны, как апельсиновые косточки. А если больной с закавыкой, так и думает-то красиво. Правильно думает. Но опять же, естественно, не всегда ставит диагноз правильно. Не бюро же ремонта. Хорошо работают мозги.

Болит правая рука. По ней она добралась до болезни желчного пузыря. А больной недоволен. У него рука болит. Евгения Владимировна, впрочем, что я душой кривлю, Женья, пожалала плечами:

— Как хотите. У вас холецистит. Надо провести вот это исследование и принимать вот эти лекарства. — И отдает какие-то бумажки.

— Следующего давай.

Следующий хромает. Она мазнула по нему глазами.

— У меня нарыв на большом пальце.

— Раздевайтесь. Зачем пальцы-то будут присылать на консультацию? Чего-нибудь еще, наверно.

Больной показывает ногу. Она ко мне:

— Вот черт, эндоартериитов сколько, а! Нарыв! — И к нему: — Палец надо ампутировать. Так и скажите вашим врачам. — И что-то пишет ему на бланке. И говорит сестре: — Следующего давай.

Но этот больной не унимается. Что-то говорит, а я смотрю, что пишет она. Здорово! Когда успела все придумать, чтоб так изложить?

— Доктор, как же так! Палец ампутировать?!

Она смотрит следующего больного.

— Да у вас болезнь не пальца, а ноги. А палец ампутировать — ерунда. Это ж пустяковая операция. Мы это даже амбулаторно делаем. Не волнуйтесь.

Женя уже говорит что-то следующему больному.

А я жду, когда все это кончится и мы пойдем «по делам или так погулять».

Мы выходим, и она, продолжая беспокойно улыбаться, вновь заводит ту же песню.

— Почему я, еще не старая женщина, должна все время возиться в крови? Я стала равнодушна к операциям, к результатам их. Когда все хорошо, так и результаты хорошие. А когда что не так, так и Саваоф не поможет. От всего от этого муторно и беспокойно. — Она взяла меня под руку, чуть подтянулась кверху и дыхла в ухо: — А мне хочется, чтоб просто когда-нибудь было хорошо. Понял? И будь здоров. Приходи. Жду.

Хм. Привет! А ведь я что-то хотел.

И разошлись.

А сегодня я пришел и вновь встретил ее идущей из операционной. В том же костюме, и с теми глазами, которые бле-

стят, и губы покусывает. Но блеск уже не тот, и губное беспокойство иное, и улыбается мне губами по форме три или какой-либо другой форме.

— Слушай, посмотри мне одного больного. Что-то у меня не работают шарики. Все вроде и правильно, все укладывается, а что-то ничего не складывается. Вроде бы и оперировать надо, а вроде бы и нет. То ли неохота просто? Привезли его, черти, утром на мою голову. Взгляни своим беспристрастным, еще не привыкшим глазом.

А с больным-то все ясно — конечно, операция нужна. Да и операция-то что, ерунда.

— Делать так делать. Иду. А ты подожди меня в кабинете.

Этому больному только начали делать, а он возьми и умри. И что только они там ни старались сделать — ничего! Взял и умер.

Мы сидим у нее в кабинете. Она положила руки на стол, а голову на руки и смотрит в стенку. Не успокаивать же ее. Глупо это. Вот ведь не хотелось ей оперировать почему-то.

— Не везет мне, знаешь. Помнишь, при тебе я больных тогда смотрела. Я в тот раз одному рекомендовала палец отрезать. Не поверил. Пошел по врачам. Нашел кого-то, лечить стал. А потом привезли к нам. Тоже умер. Вчера. Вот ведь не верят. А я ему ясно сказала — ам-пу-ти-ро-вать! Ведь им что надо — найти такого врача, чтоб его слова их мыслям соответствовали. Доискался. А потом ко мне с какой-то претензией. А я ведь не только сказала, я и написала. Не везет. Злопамятный он — бог-то. Мстительный. А?

Покурили. Помолчали.

— Пойдем с тобой пообедаем, а?

Он худой, узкий. А нос вытянутый. Не вниз. Как-то необычно вперед. Похож на серого волка. Сейчас стоит, дрожит, никак в карман не попадет. Закурить хочет.

И так каждый раз после конференции.

В этой больнице общие конференции стали бичом. Два раза в неделю главный врач сама проводит их. Собираются все врачи больницы.

Это называется пятиминутка. Но Наталья Филипповна — главный врач — говорит, что на эти два часа в неделю она имеет право, и никто ей не может запретить проводить их так, как она считает нужным.

Конечно, никто.

Пробовали — не получилось.

Сначала все идет нормально. Дежурные сдают дежурство. Терапевты. Хирурги. Потом кто-нибудь что-нибудь вякнет. А потом берет слово она.

И пошло!

Посещения! Почему родственники ходят не вовремя? Кто их пропускает? За это отвечает кто? Лечащий врач. Она всегда быстро догадывается — во всем виноват лечащий врач. Может быть, она и права.

Передачи! Не вовремя передают. Мало передают. Много передают. Передают не то, что положено. Кто виноват? И на этот раз ей не изменяет догадливость.

Сведения! Это значит выходить в определенное время и сообщать родственникам о состоянии здоровья их близких. Врачи. Не вовремя выходят. Еще терапевты выходят, а хирургов не дождешься. Плевать на ваши операции. Надо их планировать так, чтобы можно было выйти.

Тут уж она совсем права. Родственники должны знать про своих больных. Только лучше бы их пропускать каждый день.

У какого-то больного не сменили белье. Мы уже все знаем, кто виноват.

А в какой-то палате паутина была. Мы готовы хором сообщить, кто в этом виноват.

Дальше. Совсем развалилась санпросветработа.

Короче говоря, на час хватает, что сказать. А большой ли грех повторить это два раза в неделю?

А сегодня есть уже дополнительный материал.

Олег слушает уже шесть лет, но никак не может относиться к этому спокойно. Вступает в дискуссию. А потом его трясет. Невропат, наверно.

Сегодня канкан плясался на нем.

Он не ведет санпросветработы. Не проводит специальных бесед в палате. Он вступил с ней в спор — теперь трясется.

Вообще-то после этих конференций всегда кого-нибудь трясет. Но его особенно.

Нам даже пришлось сделать так, чтобы в день конференции не было операций. Конференции в среду и субботу — дни не операционные. Конечно, нельзя нам перед операцией устраивать нервотрепку. Шеф так после этих конференций не сразу идет в отделение. Сначала передохнет где-нибудь, потом к нам. Ну, а если надо сразу к нам — берегись!

Олег порядочный и честный человек. Неясно только, зачем свою порядочность растрчивать так попусту? Зачем вести никчемные дискуссии? (Впрочем, разве порядочность можно растратить?)

А его всегда есть за что ругать. Он работник хороший. Но он не любит медицину. Он предпочитает технику. Гаечки. Винтики. Наркозный аппарат. Приборы. Над ними он может сидеть целыми днями, а если что-то не клеится, может остаться и на ночь. Как мы с больными. Впрочем, он и с больными остается на сутки, но ради аппарата — с большим удовольствием.

Обход в палате длится часами. На операции времени не остается.

Он все делает правильно, обстоятельно. Но перед палатой принимает бронтозаврю дозу бехтеревки.

А я между тем в операционной. В том числе и его операции делаю. Он их с удовольствием отдает. А теперь он занимается наркозом — ему не надо делать операции. И это к лучшему.

В палате.

— Живот мягкий. Рубец хороший. Надо сделать клизму. Пенициллин отменить. Перевязку я сделаю сам. Дай ей капли Зеленина.

— У этой больной пенициллин оставить.

— Доктор, почему мне не поставили тряпку в живот, а вот ей — нас оперировали вместе — ей поставили?

— У нее гнойный аппендицит. В животе гной. По этим тампонам гной отекает из живота. А у вас был аппендицит без гноя.

— А вот она уже уходит домой, а мне все еще и пенициллин колют!

— Бывают воспалительные осложнения в ране. В них ни больной, ни хирург зачастую не вольны.

— Вы соседке моей разрешили ходить, а я до сих пор лежу. Можно мне тоже ходить?

— У вас же грыжа была. Ткани слабые. Рано встанете — опять грыжа будет.

— Этой больной вызовите невропатолога. Сотрясение мозга. Сегодня шестой день.

— Доктор, я хорошо себя чувствую. Можно ходить?

— С сотрясением мозга минимум десять дней лежать надо.

— Но у меня ничего не болит. Что вы меня зря лежать заставляете?

— Вы маляр, и я не буду давать вам советы, как лучше красить. Не понимаю. А вы в нашем деле тем более не понимаете.

Вступает в разговор еще одна больная:

— Мы здесь столько лежим, что теперь понимаем не меньше вашего.

Смешно, что говорит это она без улыбки. Еще смешнее — Олег начинает кипеть.

Нервы у него... Иногда он пытается смягчить собственную напряженность — тогда пьет. И круг замыкается. Он с каждым годом становится все более напряженным. Это напряжение, по-видимому, началось в 1940 году. Он в этом году кончил десятилетку и сдал экзамены в медицинский институт. А осенью его забрали в армию. В 1941 году под Вязьмой попал в окружение. Потом плен.

Увезли в Германию. Был где-то в лагере. Гоняли их на какие-то работы. Ждали освобождения. Пришли наши. После освобождения он довоевал еще. Так уж у него получилось — самое начало и самый конец.

А потом поехал в Москву. Демобилизованный. Потом проверяли лояльность — в плену был, язык немецкий знал. После какой-то проверки пришла на него бумага — форма под номером каким-то. Он мне говорил каким, да я забыл. А эта бумага означала продолжение проверки в более дальнем, в более серьезном учреждении. А в бумажке той не хватало одной подписи. И послали бумагу назад — чтоб доподписались. Нет назад бумаги. Долго ждали. Начальство сменилось. Потом карантин лояльности ликвидировали. И он ушел домой. А скоро учебный год. А в институт-то он уже был принят в 1940 году. И хоть до лампочки была к тому времени ему медицина — надо спешить. Надо быстрее. И он поступил на первый курс.

Шесть лет длится учеба врача. Шесть лет он ждал и боялся, когда в бумажных горах канцелярии отыщется где-то гуляющая форма под каким-то номером, без какой-то подписи или уже с подписью, и его снова начнут проверять. А бумажка так и сгнула.

Окончив институт, он по собственному желанию уехал в Якутию. А через несколько лет вернулся.

Конечно, он немножко невропат. Но работа есть работа — и какое дело до этого главному врачу. И откуда знать это больным.

Обход продолжается.

Следующая больная спокойно улыбается. Чувствует себя хорошо. Олег тут же отходит.

— Можно мне пить томатный сок?

— Безусловно. Сделайте ей клизму. Сегодня снимем швы. Дальше.

— Можно мне слабительное? Четыре дня стула не было.

— Мы в хирургии стараемся обходиться без слабительного. Предпочитаем клизму после операции.

— Я не люблю клизму. Я привыкла к пургену.

— Слабительное вам сейчас нельзя.

— Одну таблеточку, доктор.

— Ну давайте поторгуемся.

— Доктор, а мне домой можно?

— Лучше подождать пару дней. Увереннее пойдете.

— Здесь тяжело очень лежать. Я дома лежать буду.

— Насильно только в тюрьме держат. Я вам не советую.

Следующая больная желтая. Несмотря на полноту, черты лица немного заострившиеся.

— Так больно? А здесь? Рвота была? Здесь?

— Ой!

Красноречивый ответ.

— Все-таки придется вас оперировать. Камни в желчном пузыре у вас.

— Может, обойдется? Может, мне лучше съездить на курорт. Подлечиться. Диету строже соблюдать.

— Ну какой курорт?! — он вытащил из кармана камень, показал ей: — Вот такие в вашем пузыре. Нет у нас сейчас такого лекарства, чтобы камни эти уничтожить. Разве что царскую водку в пузырь влить.

— На курорте я окрепну, а то я сейчас сильно ослабела.

— Что же, ждать — время терять. Вы просто себя хотите

обмануть. Оттянуть время. Вам сейчас под шестьдесят. Будете старше. С годами ваше состояние не улучшается. Оперировать будет опаснее. Ну подумайте. Мы вас не торопим, а насильно никто оперировать вас не станет.

Следующей больной можно выписываться.

— Будьте здоровы. Старайтесь к нам больше не попадаться.

— Доктор, а можете вы мне дать справку, что я нуждаюсь в постороннем уходе? Сын тогда из армии вернется.

— А вы нуждаетесь в постороннем уходе?

Его ругают за отсутствие санпросветработы в палатах. А это что же? Его обходы. Его разговоры во время обходов — это не санпросвет? Но это не специальные беседы для больных. За такую работу в плане галочку не поставишь.

Потом он дает наркоз. Если бог не поможет — оперирует.

А после окончания работы — начинается работа. Надо писать истории болезни. Он садится за стол и скрупулезно и подробно пишет все, что полагается. Мы не пишем все, что полагается.

А он пишет. И ворчит при этом:

— Говорят, пишите короче. А чуть жалоба или того хуже — следствие, сразу лезут в историю болезни. Как мы написали. Все ли мы написали. И даже забывают существо жалобы или прегрешения. Нечего лицемерно призывать к коротким записям. Измените систему контроля. И глупые записи сами собой отпадут.

Ворчит он чаще всего в воздух. Ни к кому не обращаясь.

Олег пишет медленно и долго. Два процесса одновременно ему не под силу. Надо закурить. Он встает. Аккуратно расправляет свой белоснежный и накрахмаленный халат. Поправляет великолепно отглаженные брюки. («Я стираю и глажу сам. Вовсе я не считаю, что жена это сумеет сделать лучше».) Зажигает спичку о самый краешек коробка. С каждым зажиганием отодвигаясь от края. К концу коробка обчиркалки ровненько и полностью заштрихованы. Затем курит. Курит и ду-

мает. Курит он с таким же видом, как закусывает рюмку водки. А закусывает он чаще всего тоже папироской.

— Олж, ты почему никогда не закусываешь?

— А зачем? Что я, стремлюсь побольше выпить, что ль? Я хочу, чтобы подействовало быстрее. Захмелел — и к стороне. Пить, что ли, как этот кабан? Он сначала кусок масла проглотит. Потом льет в себя, как в прорву. Ничего его не берет. Удаль показывает. Выпить побольше. Нахапать побольше. Хорошо, что он от нас ушел. Весь он вот такой. Если у тебя есть потребность выпить, уйти немножко от самого себя, чего ж тогда закусывать? Я пью, чтобы пить, а не нажираться.

Да так и пьет, чтобы пить.

Папироса кончена. Можно продолжать работу.

Пишет.

Мы все давно уже кончили. Иногда я сажусь и помогаю ему писать. Но это ему не помогает.

— Олег Алексеевич! В изоляторе больной плохо!

Ну так теперь он там до завтра. Дописал все его истории болезни. А он еще там. Покурил. Он там. Пошел своих больных посмотрел. Он все еще там. Нам с ним по дороге домой.

В изоляторе бог знает что делается. Около больной капельница стоит. Из носа зонд торчит — желудок промывают. Плачущая сестра убирает клизму.

Сестра молодая. Только что пришла из училища. Еще ни к чему не привыкла. Загонял, наверное. Жить учит, работать. Теперь не дождешься его. Надо домой ехать одному. Но вышел сказать, чтоб я не ждал. И сестра тут же вышла. Передохнуть.

— Тяжелая была. Я вином немного напоил. Сразу легче стало. Видишь, какая сейчас спокойная. Лежит. Блаженно улыбается. Теперь пойдет на улучшение. Я знаю.

(Как будто можно быть уж так уверенным.)

— А что с сестрой? Чего она у тебя плачет?

— Да ну их. Приходят к нам такие пушистые, круглые, пучеглазые. И считают, что все дороги перед ними открыты.

Выбирай и иди. А если работать насмерть, так что думать: можно или нельзя? Пойдешь с этим по дороге, как бы не так! Как можно — работать и только и думать, что можно, а что нельзя?

— Да что ты так раздухарился! Что случилось?

— Этих молодых девчонок выпускают из училища с формулами XIX века. Боятся, что, применяя анализы и рентген, медик потеряет способность мыслить. Но ведь мыслить-то теперь надо уже по-другому. Век XX. Что ж, пусть сами остаются шаманами. Но молодых зачем уродовать? Их просто напичкали целым сонмищем разных обязанностей и запретов. От запретов люди лучше не становятся. Только к фальши это приводит. Запрети ребенку ползать по полу, и вот тебе первая коллизия, первая фальшь. Он не понимает, почему нельзя. И действительно, почему нельзя?..

— Ну ладно, Олж. Все это я знаю. Кроме того, могу добавить, что нельзя ограничивать человека рамками «да и нет», рамками «черного и белого»...

Он опомнился и засмеялся над собственным митингом. Но, не в силах сразу остановиться, перевел разговор на главного врача:

— А иначе и будет получаться как у нас в больнице: «то положено, а это не положено»; в сторону же и думать не могли.

«Положено» и «не положено» — любимые слова нашей Натальи Филипповны.

От них действительно иногда бывает страшно.



у, а теперь что?

— Теперь жду, что будет дальше. Не выхожу из отделения.

— Ты даешь! Шеф-то как?

— Стараюсь на глаза не попадаться.

Громадный, неправдоподобный рост. Такой большой человек должен быть только хорошим. Если при таких размерах да еще быть плохим — было бы нечто фантастически ужасное. Или банальная патология... Я всегда получаю эстетическое наслаждение, глядя, как он оперирует. У него большие руки. Такие славные руки. Богом данный хирург. Такие, наверное, редко рождаются.

На третьем курсе он ловил на улице беспризорных собак и устраивал из профессорской папиной квартиры и экспериментальную операционную и виварий. Собаке сделает морфий (вначале он не знал, что собак после этого надо прогуливать); и она лежит к столу привязанная и бьет хвостом по собственным испражнениям. И все летит на профессорские стены. Учился давать наркоз. Учился оперировать. Бедные родители!

После института, где-то на селе, он уже оперировал, как я — стал только сейчас. Попробуй заставь такого писать подробные, как у нас говорят, «для прокурора», истории болезни. Он, конечно, до сих пор пишет истории болезни так, что показать их начальству или студентам невозможно. Он слишком большой и широкий для педантичных записей. Он и не ученый в привычном смысле слова, а просто Большой хирург.

Теперь он мучается.

Больной семьдесят пять лет. При таком возрасте решиться на операцию вообще трудно. А когда он увидел опухоль, занимающую весь желудок, стало ясно — оперировать нельзя.

Не выдержит. Но ни одного метастаза! Опухоль удалима! Что делать?

Оперировать — почти наверняка убьешь.

Не оперировать — наверняка сама умрет, но... позже.

Своими руками убить или приговорить. Что выбрать?

А все-таки оперировать — использовать оставшиеся полшанса. А вдруг выживет сейчас и будет жить потом! Но может ли хирург, оперируя, рассчитывать на «вдруг»?

Не имеет права!

Скорее всего эту операцию она не выдержит. Удалять весь желудок, да еще здесь селезенку, сшивать кишку с пищеводом. Семьдесят пять лет. Кто нам, хирургам, дал право лишать человека последних трех-шести или бог знает сколько там месяцев? Мало ли зачем человеку они понадобятся. Ведь последние!

Пойти на эту операцию — пойти почти на сознательное убийство.

Но не использовать хоть такусенький шанс!..

Реши-ка за несколько минут вопрос о жизни чужого когда-то тебе человека.

Слушается дело о жизни!

Банальная мысль: самое дорогое — это человеческая жизнь. Это ведь не просто слова. Подумать только! Умереть! То есть не жить. Никогда не существовать. Ничего больше не знать. Не чувствовать. А если это совершено еще и против естества — насильственно? Такой грех ведь холодно и не осмыслишь. Это так же трудно осознать до конца нормальной мыслительной системой, как бог или вселенная.

Насильственная смерть! Это же должно расцениваться как абракадабра. Это и есть абракадабра — неосмысленная бессмыслица.

Я глубоко убежден: провидение или естественная логика существования — что одно и то же — всегда наказывает за убийство, за жестокость, за издевательство над человеческим организмом (именно организмом).

Убийство несовместимо со здравым смыслом, с существованием. Не вдаваясь в законы развития истории, чисто эмоционально я убежден, что империя Филиппа II развалилась прежде всего потому, что смерть на костре он возвел в ранг государственного принципа. Якобинцы погубили себя, вступив в противоречие со здравым смыслом, подняв гильотину выше головы.

Все это эмоциональный вздор — приблизительно так я думал, оперируя одного безнадежного больного. Никак не мог решить — надо оперировать радикально или остановиться.

Решив и поняв, что оперировать эту больную, удалять ей весь желудок невероятно опасно, он все же произвел радикальную операцию.

Он кончил ее в половине второго. Сейчас восемь часов. Как можно уйти сегодня из больницы? Но через час придет шеф со своим вечерним обходом тяжелых больных. Надо успеть убежать. Что сказать шефу? Он мудр. Шеф-то хорошо знает, что оперировать было нельзя. Скажи ему — убьет! У каждого своя точка зрения на право хирурга рисковать. Рискуешь больным, собой, отделением.

И мне поручено осторожно сказать правду.

И я же должен подать знак, когда можно будет вернуться к больной.

— Как дежурство? Все в порядке?

— Да ничего. Утомительно, когда никого не везут.

— Ха, утомительно! Молодежь! Ложись и отдыхай, коль спокойно пока.

— Да ведь покоя-то нет. Все ждешь чего-то. Ей-богу, я от операций меньше устаю, чем вот от такого ожидания. Всю ночь оперировать легче, чем слоняться и ждать.

— А как послеоперационные?

— Да тоже все спокойно. Только вот после сегодняшней Семенова требует наблюдения. Давление ничего. Мы ей кровь

перелили. Впечатление, что она хорошо пойдет. Подождем четвертого дня.

— Чего несешь? Там же пробная. Что ждать четвертого дня?

— Да там не было ни одного метастаза. И опухоль не так чтобы очень большая. Только вот к селезенке подходила.

— Ты что? Я ж подходил к началу операции. Там же, если делать, так тотальную! Да еще с селезенкой!

— Конечно. Но давление было хорошее. И вообще она ничего была.

— Так он что — сделал радикально?!

Глаза у шефа стали треугольными.

— Да она ничего, хорошая. Пойдемте посмотрим. Там все в порядке.

Больная была действительно ничего. Немного бледна. Переливалась кровь. Сидела рядом дочь ее. И пульсишко был ничего.

Уходя, шеф сказал, что, если больная помрет, и ему и мне он запретит оперировать в течение трех месяцев.

Это предел недовольства и раздражения. Мало того что санкция высока, но он заодно и меня трахнул. А я-то при чем? Но молчу. Во-первых, нелепо в такой момент возражать. А во-вторых, мне даже лестно. Так сказать, сподобился. Может быть, за одинаковых держит? Нет. Это только в моменты крайнего раздражения.

Можно звать его обратно. Опасность миновала. Отбой.

Только вот за эту миссию дипломатическую я под угрозой.

А дальше началась нервотряска.

Первая ночь спокойна. На следующий день давление 80. Уколы. Лекарства. Кровь. Кровь. Бледность. Пульс больше 100. Может быть, кровотечение? Гемоглобин — нормальный.

Он, конечно, не отходит от больной. Только на несколько минут. Для разговора с шефом.

Что же это — кровотечение или сердечная недостаточность?

Снова наблюдение. Снова переливание.

Идет время.

А к вечеру давление 85. А потом 90, 95.

Когда я уходил, оставив его наедине с ней, — давление было уже 105. Он мог бы и пойти поспать. Да разве доверишь! Я не осуждаю его, хотя дежурные могут быть и в обиде. У нас нельзя работать с недоверием друг к другу. Поэтому я бы сделал исключение для главных хирургов в больницах и клиниках. Они должны принимать и увольнять только по своему усмотрению. Или увольнять надо их. Как могут работать два хирурга, если один другому не доверяет? И чтобы увольняемый не обижался: просто не сошлись. А при этом в хирургии работать нельзя. Как и в любви. А в трудовой бы книжке писали: «Не ужились». И не обидно, и не препятствует поступлению на работу в другом месте.

Он целую ночь с больной. То кровь. То банки. То строфантин внутривенно. То бог его знает что.

Утром он стал еще длиннее. Наверно, потому, что похудел. К тому же все время в палате дочь. Это тоже очень нервирует. А что делать? Не разрешить? Тоже ведь не дело.

У нас часты разговоры, чтобы родственников пускать поменьше. Чтобы не каждый день. Что они мешают работать. Что они нервируют персонал. Все это безусловно и абсолютно правильно. У страха глаза велики. У них беспокойство сильно. От них нет помощи ни персоналу (это-то не обязательно), но и больному. Они только вносят излишнее беспокойство.

Но мне все равно кажется варварством старание не допустить близких к больному, когда они этого хотят. Родственники всегда должны иметь возможность прийти к своему больному, лежащему в больнице. Больница не тюрьма, и нельзя создавать жандармский режим в ней. Человек после операции. Всегда может внезапно наступить смерть. Запрещать близким приходить в больницу — крайне жестоко. Надо взять на себя и эту трудность.

А на третий день — воспаление легких. Да какое! Оба

легких. Нарастает дыхательная недостаточность. Дышит часто. Как-то не до конца. Не полной грудью. 75 лет. Ногти, губы, кончик носа синие. Кислород не помогает.

Дышит не полной грудью. А сколько же сил надо, чтобы воздух прошел по трахее, по бронхам, по всем путям, до самой ткани легкого! Надо сократить это расстояние, так называемое «вредное пространство».

Надо отсасывать из легких мокроту, чтобы освободить дыхательную поверхность. Чтобы вдыхаемый кислород не имел преград на своем пути к легкому.

Снова работа. Разрез на шее впереди. Щитовидка отведена кверху. На кровати очень неудобно это делать. Вот трахея.

— Зацепи ее крючком, а я разрежу.

Из дыры с шумом выходит воздух и сгустки мокроты.

— Отсос! Сколько мокроты. Конечно, нечем дышать.

Наконец, в трахею вставлена трубка. Дыхание стало ровнее.

Больная порозовела. С дыхательной недостаточностью справились.

Только вот если с больной надо поговорить, трубку прикрывают пальцем. Воздух из легких идет по нормальным путям. Через голосовую щель. Тогда звуки получаются. А пока ей приходится быть бессловесной.

И ночь опять была спокойной.

А на четвертый день мы все по очереди подходим к палате.

— Как живот?

— Мягкий. Язык влажный. Пульс в пределах 80—90.

И так целый день.

Мы с ним целый день щупаем живот, а потом обсуждаем, рассуждаем. Да и шеф все время напоминает о грозящей нам санкции.

Если швы на желудке, на кишках расходятся, то чаще всего это бывает на четвертый день.

— Все-таки живот она немного напрягает. Как ты думаешь?

— Да, по-моему, мягкий. Это ты с перепугу.

— Знаешь, как у раковых больных? У них ведь после операции, когда все в порядке, живот как тряпка. Тем более у такой старухи. Чем ей напрягать-то. Мышц почти нет.

— Верно, конечно. Но язык, пульс. Все ж хорошо.

— Старая. У них все протекает слабовыраженно. В животе, может быть, уже бог знает что, а никакой симптоматики.

— Что гадать? Ты сейчас можешь сказать что-нибудь определенное? Либо у ней швы там разошлись — тогда надо лезть в живот. Либо они целы — тогда надо ждать. Есть у тебя сейчас основания, чтобы лезть в нее? Нет. Тогда сиди и молчи. Все равно надо ждать и наблюдать. Нечего портить нервы себе и людям.

Эк я его! Легко мне говорить! А когда я сам в таком положении? Точно так же юродствую. Конечно, она старая, и там может все развалиться. Ткани держат плохо. Все нитки могут прорезаться. Мало того, что ткани старые, семидесятипятилетние — они же раковые. Плохо, очень плохо срастаются. Но что мы можем делать? Ждать.

— Ну как?

— Все то же.

— Пойдем к дежурным. Может, поешь чего-нибудь?

Буркнул что-то он. Я понял: мысли у него далеки от «поешь». По-видимому, он кого-то послал к черту. Но кого? Дежурных? Еду? Меня? Надо оставить его в покое.

И вечером!

— Ну как?

— Все то же.

А утром:

— Ну как?

— Порядок. Знаешь, я сегодня ночью сделал очень интересную операцию...

Уезжая в загородную больницу для долечивания, она говорила в полный голос.

Что ж, такой риск оправдан.

ВСКРЫТИЕ

Моя подпись. Подпись заведующего отделением. Наконец, виза главного врача: «На вскрытие» — и мы идем в морг. На секцию, на аутопсию, на вскрытие — медицина придумала много красивых названий.

В диагнозе мы совершенно не уверены. Собственно, все уверены — рак. Впрочем, может быть, не рак, но, безусловно, какая-то злокачественная опухоль. От этого он и умер.

Но диагноз нужен точный. Топическая диагностика — то есть точно указать место, откуда опухоль исходит. И какая она.

В морге.

Прозектор:

— Расскажите коротенько.

(Какой неприветливый мужик. Конечно, будет расхождение диагноза. Закурить, что ли?)

— Курить здесь нельзя.

— Извините. Раньше было всегда можно.

(Ну, с таким-то, конечно, будет расхождение. «Курить нельзя». А вскрывать, не читая истории болезни, можно?)

После рассказа о ходе болезни — диагноз.

— ...Какая-то забрюшинная опухоль.

— Какая? И где? Не знаете?

— В том-то и дело, что нет.

— Ну что ж, будем искать.

Он очень тяжело умирал. А мы не могли точный диагноз поставить. (Человек умер — а мы все диагноз ставим. Человека нет — а в лаборатории продолжают исследовать, даже не зная, что лечить уж некого. А вот он — мужик-то этот — пат-анатом, знает ведь, что лечить некого, а придирается — диагноз спрашивает. Ищите — и обрящете.)

Я вспоминаю, как ко мне пришли рентгенологи со снимками.

— Как ты считаешь — что у него?

— Рак.

— Почему рак?

— Ну, саркома.

— Нет, серьезно, что ты думаешь?

— Да я серьезно, какая-то злокачественная опухоль. А какая, нам с больным все равно: я не могу лечить, он не может жить.

— Хм, а расхождение диагноза?

Есть диагноз клинический, который ставим мы — живому. Есть диагноз анатомический, который ставит патанатом при вскрытии. И если эти диагнозы не совпадают — то есть если мы ошибаемся, — на конференции разборочка и проборочка. В годовом отчете: расхождений диагнозов столько-то.

— Да что расхождение. У него злокачественная забрюшинная опухоль, вообще у него, по-моему, ретикулосаркома.

— Почему забрюшинная?

— Ну что пристал?! Много оснований. Вернее, ни одного. Но точно — забрюшинная. Прощупывается она как-то так.

— А почему кровотечения?

— Ну, кишку прорастает.

— А кровохарканье?

— Метастазы в грудной клетке.

— А тромбоз с гангреной?

— Сдавление опухолью, и обычный раковый тромбоз. А может быть, злокачественное заболевание крови.

— Ну так сделайте ему пункцию грудины, анализ костного мозга. Если болезнь крови — сразу станет ясно.

— Да жалко его. И без того умирает. Еле дышит. Жалко.

— Ты совсем с ума сошел. Он же без диагноза умирает. Будет расхождение.

— Плевать мне на ваше расхождение! У него злокачест-

венная опухоль. Он абсолютно безнадежен. Он умирает. И пусть спокойно умирает.

— Ты эгоист и мерзавец. Пользуешься доверием заведующего отделением. Он тебя не проверяет, и расхождение диагнозов ему припишут. Его ругать будут в первую очередь.

— Ну ладно, ладно, — это другой рентгенолог. — Ты лучше скажи, почему забрюшинная. Я тебе тоже верю. И у меня по рентгену тоже так получается вроде. Но это наши рентгенологические симптомы. А у тебя? Твои-то основания скажи?

— А черт его знает! Прощупывается какими-то буграми, как будто в брыжейке. Сосуды сдавлены. Ей-богу, не знаю, но только забрюшинная. Эта гуля, которая так прощупывается посредине живота, — это опухоль забрюшинная.

— А! Ты тоже ничего не понимаешь. Патанатом скажет. Уж им-то все видно.

И вот на вскрытии.

Молодой еще. Пятьдесят один год. Мучался. Рак. Тяжело умирал.

Сейчас нам поставят диагноз. Окажется совсем что-нибудь другое.

— Смотрите, какие опухоли в животе... И метастазы в кишечнике!

— На что похоже?

— По расположению и узлам на саркому. Смотрите, в легком опухоль малюсенькая. Наверное, рак легкого с метастазами в живот.

(Если из живота в легкие — это почти без расхождения. Но если из легкого в живот — определенно приклеят расхождение.)

— Не похоже на рак легкого. Маленький очень. — Я с надеждой.

— Вот это-то и характерно для него. Весь в ботву пошел, а корешок маленький... Узлы что-то желтые. Похоже на саркому, — опять заколебался патанатом. — Сейчас посмотрим,

если здесь с двух сторон метастазы, тогда рак легкого почти точно.

— Ну! Только на этом основании?! Давайте лучше посмотрим еще. Потом уж заключение дадите. — Призрак расхождения замаячил уже близко.

— Да я так просто. Ваш-то диагноз совсем абстрактен: забрюшинная злокачественная опухоль. Вы бы уж давали тогда: опухоль области живота. Меньше шансов ошибиться.

— Ладно ехидничать. Вам теперь легко: все на виду. А нам-то каково? К тому же он был человек, страдал. А сейчас его нет. Страданий нет. Они остались у нас. Ехидничать — это просто.

— Вы думаете, нам легко? У нас тоже диагноз-то не всегда идет. Смотрите, здесь метастазы — все-таки рак легкого, наверно.

Вот уж ни к чему. Неприятно. И вслух я:

— Давайте посмотрим дальше.

— Ай-я-яй! И в желудке опухоль есть!

Я:

— Алаверды к рентгенологам.

Они:

— Да, действительно, вот будет фокус, если мы в желудке рак просмотрели.

(Чудаки. Какая разница? Все равно всюду метастазы — лечить-то поздно уже было.)

— Тогда это расхождение целиком на нас. — Они волнуются.

— Да, кажется, рак желудка. — Уже более уверенно говорит патанатом.

(Что значит на их отделении расхождение? Больной-то в нашем лежал Нет, не могу поверить, что желудок. Наверно, скорее не хочу поверить.)

— А ну-ка разрежьте эту опухоль.

— Сейчас. Давайте разрежем. Да! Нет, это метастаз в желудке. Первичная опухоль где-то еще.

— Давайте посмотрим самую большую опухоль, которая прощупывалась. Может, в ней что-нибудь увидим более ясное. Хороший патанатом. Он не перестает удивляться.

— Смотри-ка. А эта вот опухоль никакого отношения к смерти не имеет. Сосудистая доброкачественная опухоль. Случайная находка, что называется.

Все термины красивые — случайная находка. А в основном именно от этой опухоли шли все мои рассуждения.

— Неужели это что-то еще, не метастаз?

— Без всяких сомнений. Там вот явные метастазы. А это явная доброкачественная. Надо искать где-то первичную, основную злокачественную опухоль.

— Вы уже посмотрели все, что могли увидеть, прощупать или услышать — и ничего не знаете точно. Каково же нам диагноз ставить?

— Как не знаю?! А в желудке? Вы же не видели.

— Это метастаз. Он мог и после рентгена появиться.

— Впрочем, это верно. — И вдруг торжествующе: — Вот, пожалуйста: опухоль поджелудочной железы. Скорее всего это и есть. Это и есть первичная опухоль. Отсюда метастазы.

— По-моему, тоже так.

(Конечно. Она ведь и есть забрюшинная. Тогда и я прав. Значит, я прав.)

Так мы и решили остановиться на этом диагнозе: рак поджелудочной железы с множественными метастазами.

Это можно было и не считать как расхождение диагноза.

ДИСКУССИИ

Больная лежала уже почти выздоровевшая, но почему-то снова заболевшая. Вот ведь нелепость какая. Все хорошо. Операция — хорошо. После операции — хорошо. Первый раз поела — хорошо. Первый раз пошла — хорошо.

И вдруг на тебе — болит нога. Нога стала толстая, температура. Ходить не может. Есть не хочет. На нас в обиде.

И мы тоже. Вроде бы мы-то при чем?! И действительно не виноваты.

А чувствуешь себя виноватым.

Ее ведет молодой ординатор. Он несколько лет проработал где-то на периферии, а у нас — около двух месяцев.

У него опыт. Он верит в него и ценит его. Он любит больных. Он хорошо мыслит. Он всегда хочет, чтоб как можно лучше было больным. Он правду-матку в глаза режет. Он из «неудобных» людей.

Хороший человек. Правда, очень уж уважает «собственную хорошость». Мысли свои любит.

Но любит и больных. Я его люблю за это.

— Что ты назначил?

— Постельный режим. Все средства, принятые на вооружение при этом. Ну и жду.

Режим! Какое противное слово. Не для больницы слово это. Режим. Изолятор. Казенная одежда. Свидания. Передачи. Родственников не пускают. Нам в больницах побольше б свободы. Лечиться было бы приятнее. Да и спокойнее. Впрочем, какая ж свобода, если больной.

— А больше ничего не назначил?

— Повязку положил.

— Так давай по нашему методу лечить. Введем в артерию.

— А зачем? Давайте обычными методами сначала. Они же помогают всегда. Не поможет, тогда введем.

«Обычными». «Всегда». Ненавижу это: «Помогает всегда».

— Так ведь почти все болезни всегда проходят. Даже которых лечить не умеем. Вот ведь грипп проходит. А если мы в силах ускорить выздоровление — надо ускорить.

— Пожалуйста. Прикажите. Сделаю.

— Да не хочу я приказывать. Ты ведь врач. Должен думать сам, что лучше.

— Ну, а если думать, предпочитаю, чтоб на моих больных не экспериментировали.

— Это, милый мой, эксперимент лишь для тебя. А мы этим методом уже сотни больных вылечили.

— Я ж и говорю: прикажите — сделаю.

— Ну чего ты упорствуешь? Да ты пойми, негативист, экспериментировали мы раньше. На себе. Мы тут все себе вначале в артерии вводили. Так что, пожалуйста, не строй из себя героя-противленца. Приказать я еще успею.

— Не понимаю, почему чуть что — надо тыкать в артерию. Почему нельзя использовать старые методы? Вы здесь сотни больных этим методом излечили, а мы по-старому — тысячи, наверное. Подождать пару дней, если будет плохо — тогда давайте.

Я смотрю через открытую дверь палаты на больную. Вот ведь была уже почти дома, и... раз — на три недели.

Можно ее и пожалеть, конечно. Не колоть в артерию. Так ведь в три раза дольше.

— Ведь мы же дни теряем. — Я опять начинаю втолковывать, но уже злюсь. Нельзя злиться: я же педагог. — Пока болезнь свежа — действие лучше, эффект большой.

— Но ведь в артерию вводим, не в вену.

Противник отступил на заранее подготовленные позиции. Надо развивать успех. Бить по отступающему. Зайти с флан-

гов. Окружить, смять и в плен взять. Вот лишь бы не истребить.

— А артерии бояться не надо. Это старый предрассудок. В вены мы тычем, когда надо и не надо. А вена более ранима. В ней скорость кровотока меньше. В ней чаще воспаления, чаще тромбы. Но этого ты не боишься — привык.

— Может быть, все же лучше по старому римскому закону — *Jestina lente* — спеши медленно?

— Да пойми же. Болит у нее. Да к тому же она видела себя уже дома! Боли-то пройдут сразу. Больной легче станет — сразу!

— Ну что ж. Прикажите. Сделаю.

Я разозлился. И пошел.

Сестре:

— Подавайте в перевязочную.

Пока больную привезли в перевязочную, я развел препарат. Набрал его в шприц.

Больная лежит. Смотрит испуганно. Конечно, я напрасно разводил дискуссию. Она видела издали, что мы спорим. Жоть и не слышала о чем. Да ведь больным слышать и не надо. Они всегда что-то чувствуют! Ну не всегда. Или, в крайнем случае, что-нибудь додумают. Придумают. Еще хуже.

Так. Вот бедро переходит в живот. Вот паховая складка. А вот и пульсирует.

— Видишь? Здесь пульсирует.

— А я знаю где.

— Фиксирую артерию двумя пальцами.

— Я знаю, босс.

— Не язви, а смотри. Сейчас я вас уколою. Не бойтесь. Обычный укол.

— А я и не боюсь, — храбрится больная, а сама, конечно, боится. Я ж вижу. Напрасно мы с ним сейчас разговаривали там.

Иголку воткнул. Пульсирует иголка. Значит, на артерии. Так. Р-раз!

Из иголки пульсирующим фонтанчиком бьет струйка крови.

— Шприц, пожалуйста. Сейчас в ноге вы почувствуете жар. Но он быстро пройдет.

— Ой! Ой! Горячо очень!

— Сейчас пройдет. До десяти сосчитайте, и пройдет.

Он смотрит на меня торжествующе.

— Прошло уже. Не горячо.

— А нога болит?

— Не пойму. Вроде меньше. Нет, вроде не болит.

Теперь я смотрю на него торжествующе.

— Пощупай ногу, — я ему доктринерски.

Щупает.

— Больно?

— Нет.

— Здесь?

— Нет.

— А так?

— Нет.

Я:

— Заклейте и отвезите больную.

Сейчас надо молча уйти.

Уходя:

— Большой повязки не надо. Можно увозить больную.

* * *

Через год.

Он выходит из перевязочной. За ним больная.

— Ты что делал?

— В артерию вводил.

— Кому?

— А вот ей.

— Так что ж она пешком идет?!

— А ничего не бывает. Я уж сколько делал — и ничего. Идут пешком.

— Да ты что?! Так уж мы много делаем! Нельзя после этого пускать пешком. Надо же осторожность соблюдать.

— Да говорю ж, ничего. Чего зря-то осторожничать? Я себе когда ввел — сразу же пошел на операцию. Даже побежал. И стоял на операции долго. И ничего.

Или я его тогда истребил?

Или у него опять появился опыт?

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?..

В приемный покой внесли больную.

— Что случилось?

— Болит, доктор, все.

— А что же — все?

— Живот болит. Сердце болит. Все болит. Сами ищите.

— А что же раньше всего заболело?

— Не знаю. Три дня болит живот. И сердце болит три дня.

— Вы одна? Вас никто не провожает?

— Все заняты. Да и зачем? На машине ведь повезли.

Болеет живот. Рвота была. Потом, а может, сначала появились боли в сердце. Нет, наверно, все-таки потом появились боли в сердце. В животе, справа в подреберье, прощупывается плотный, очень болезненный желчный пузырь. Когда его щупаешь, становится страшно: сейчас лопнет. Быстрее оперировать! Сердце стучало глухо, тихо.

— А может, лучше подождать? Подождать «с ножом в руках»? А что скажет терапевт?

Сердце стучало глухо, тихо. Терапевт был тих и неуверен.

— Если можете ждать, ждите.

Главный хирург:

— Попробуйте лечить так. Лучше не будет — с богом. Следи внимательно. Пузырь если лопнет — потеряем ее наверняка. Не тяни долго. Не будет лучше — делай.

Главный терапевт:

— На электрокардиограмме инфаркта нет. Но кто его знает. Постарайтесь сегодня быть консервативным, не оперировать. Ну, а нет...

Лед на живот. Жидкости под кожу, в вену. Пенициллин. Стрептомицин. Сердечные. Атропин. Кислород. Каждые два

часа анализ крови. Каждый час ощупывание — пузырь остался большим.

Но больная спокойнее. Боли, кажется, меньше. А может быть?.. Больные с желчными пузырями все толстые. Крепостью вздымается живот над кроватью. Подступись. А сердце? Сердца не видно. Что же делать? Нет родственников. Не приходят. Больная спокойнее. Пузырь растет. Может, там уже гангрена — потому и болит меньше? Кабы речь шла обо мне — я бы решился на операцию. А вот поди-ка за нее реши. За другого тяжелее. Что же делать? Как быть? Голова лопается.

Состояние прежнее. Дальнейшего улучшения нет. Больная лежит. Пузырь растет.

Больная у нас уже 20 часов.

Пришел сын.

— Знаете ли... матушку вашу, по-видимому, придется оперировать. Сердце не очень... Пытаемся обойтись без операции. Но похоже... придется решиться.

Сын круглый, полный, лицо добродушное. Улыбается добро, а при этом и без того маленькие глазки выглядывают как бы из щелки копилки.

— Нет, оперировать ее нельзя. Сердце не выдержит.

— Может, выдержит. Будем следить. Подождем еще. Известно, что придется ставить на первое место в этой ситуации: сердце — будем ждать; пузырь — придется оперировать. Короче говоря — оперировать будем только при ухудшении. Только в крайнем случае.

— Нет. Оперировать ее нельзя все равно. Сердце не выдержит.

— Вам ведь это трудно решать так категорически. Вы же в этом мало понимаете. Мы врачи, но хирурги, поэтому тоже сами не решаемся — недостаточно компетентны. Терапевтов зовем на помощь, на совет.

Что же делать? Ничего себе настрой. А если все-таки не будет выхода? Если пузырь лопнет — она ведь от болей изой-

дет. Сама попросит. А еще умрет. Этот толстяк-добряк пропишет нам ижицу: «Я же говорил!» Поди объясни.

Пока оперировать других будем. Ясных и понятных.
Мыться!

После операции все опять собрались у больной. Живот стал хуже. Появились признаки воспаления брюшины — перитонит.

Надо оперировать.

Снова электрокардиограмма — инфаркта нет. Терапевты решили — боли в сердце рефлекторные, от пузыря. Сердце выдержит. Более того, после операции боли в сердце должны пройти.

Надо оперировать.

Но ведь все может быть. Может и умереть. Можно и палец разрезать и умереть. Один хирург в операционной показывал студентам, где будет произведен разрез. Провел ногтем по животу — больной и умер.

Надо оперировать. Больше ждать нельзя.

Больная лежит уже не так спокойно. Стонет. Живот напряжен. И пузырь.. пузырь остается большим. Но еще цел.

— Все-таки придется вас оперировать. Дальше ждать нельзя.

— Еще немножечко бы обождать, а?

— Так ведь тридцать шесть часов ждали. Думали, обойдется. Живот стал хуже. Два раза кардиограмму делали. Сердце хорошее. Сердце выдержит. За сердце можете не волноваться.

— Боюсь я.

— Это понятно, что боитесь. Скажи мне — оперироваться, я тоже буду бояться. Это свойственно человеку — бояться, когда его резать собираются. Но что же делать? Мы ждали сколько могли. Дальше нельзя. Да к тому же мы убедились, что сердце ваше не подведет ни вас, ни нас. А я вам слово даю, что через две недели буду с вами прощаться. Болей не будет ни в животе, ни в сердце.

— Да вот сын, уходя, не разрешил мне соглашаться.

Ну да уж что делать. Лучше смерть, чем так терпеть боли. Когда-нибудь, а смерть придет. Оперируйте.

Все же попробую еще подождать родственников. Почему никто не идет? Больная тяжелая, а где родственники? Еще пару часов подожду. У нас еще четыре операции. За это время я их сделаю.

— Если придут родственники, проводите их к операционной. Между двумя операциями я выйду к ним — поговорю... Мыться!

После первой операции подошел муж больной.

— Дальше ждать нельзя. Придется оперировать. Мы проверили сердце. Сердце выдержит. Если ждать дальше, пузырь прорвется, и спасти будет сложнее.

— Пойду поговорю с ней. Да и дочь сейчас придет.

После второй операции к операционной никто не подошел.

Что они там думают? Что тянут время? Как им внушить?

После третьей операции никто к операционной не подошел.

???

После четвертой, последней, операции никто к операционной не подошел. Я пошел в отделение. Если Магомет не идет к горе, гора идет к Магомету.

Из сестер на посту в отделении сегодня дежурит Света. Она из тех, что все успевают. Да еще и учиться на первом курсе медицинского. Ночью сидеть трудно без сна, когда нет тяжелых больных. Когда они есть — ночь без сна проходит легче. Чуть привезли — и с диванов, со стульев, из-за стола, из ординаторской — отовсюду выползают белые халаты. Все в одно место. К самому уязвимому месту. Так, если в тело попадает заноза, отовсюду бегут на борьбу лейкоциты.

А сейчас Света сидит за столом. Читает. Чтобы не уснуть во время дежурства, она время от времени развлекается. Из своей короткой прически сейчас, например, она сотворила короткие косички-хвостики. В стороны торчат. И сама она вся веселая, доброжелательная и очень милая с этими косичками.

Я люблю с ней работать. Когда она в моих палатах, я спокоен за всю работу. Кроме необходимых дел, кроме настоящей нужной лечебной работы, надо еще соблюдать формальности. Я забываю назначать анализы каждые 10 дней. Без нужды, а для порядка. Света следит сама и напоминает. Помогает голову разгружать от шлама. А иногда и важную вещь подскажет. Плохо, когда сестра не творческий исполнитель чужой воли. А чаще всего это так. Почему-то сестер низводят до пустой раздачи лекарств, укальвателей и подавальщиков инструментов. Им разрешено по инструкции только то, что можно сделать без всякого специального образования. Они и перестают рассуждать — не положено. Олег прав: нелеп в медицине старый военный принцип «не рассуждать» и «не положено». А вот со Светой хорошо работать. С ней и посоветоваться можно. Больных она знает. Если больная откажется от операции, пошлю ее на переговоры. Она чудеса делает. Хорошо с ней работать. Все успевает. Сидит читает. Но я знаю — все в порядке. Это не от безделья. Больного тяжелого она не упустит и не оставит. Я знаю.

Правда, вот вчера вечером она отослала домой родственников одной больной. А ночью больная умерла.

— Почему ты не разрешила им остаться?

— А уже было десять часов. Дальше нельзя же было.

— Но больная-то умирающая.

— От них все равно не было никакой пользы. Они лишь суетились. Вносили излишнее беспокойство. Больной только вред.

— Какой же вред, когда больная все равно умирала?

— Мы ей делали все, что надо. А сквозь них даже не пробьешься к ней.

— Так нельзя, Света. Нельзя родственников отправлять домой, когда человек вот-вот умрет. Это просто не гуманно.

— Главный врач категорически требует выполнения больничных правил. Ночевать в отделении родственникам нельзя.

Откуда у этой девочки такая жесткость? Может, даже жестокость?

— Нельзя все так регламентировать, Света. Живые люди — не винтики.

И все же Света молодец.

— Света, позови, пожалуйста, родственников в ординаторскую.

Муж худой — в отличие от сына. Глаза широкие, обеспокоенные и тревожные. Дочь спокойна, величава. Строга и серьезна.

— Ну, как вы решили? Надо начинать операцию. А ее готовить к наркозу.

— Нет, доктор. Так что согласия на операцию мы дать не можем. Сердце не выдержит.

— Но желчный пузырь уже не выдержал! Она же умрет!

— Нет, доктор. Нельзя ее оперировать — не выдержит. Сын скажет, что мать мне не дорога, вот я и дал согласие резать. (Резать!!!)

— Но как же можно так? Вы поймите! Желчь из пузыря разольется по всему животу. Начнется желчный перитонит, воспаление брюшины. Брюшина по поверхности больше, чем кожа. Если, например, кожа вся воспалится — человек умирает. А здесь этой поверхности еще больше. Если желчь разольется, спасти ее будет очень трудно. А может быть, и невозможно. Сердце у нее сейчас лучше. Терапевты считают, что боли в сердце от живота. Нельзя ее оставлять так, на произвол судьбы. Все, что можно было сделать без операции, мы сделали. Дальше ждать нельзя. Операция сейчас необходима. Грозит смерть.

— Нет, доктор. Вы ее не оперируйте. Завтра придет сын к вам, с ним поговорите.

— Завтра (если для нее будет завтра) состояние ее много хуже будет!

— Нет, доктор. Согласия на операцию мы не даем.

— Ну, хорошо. Подумайте, в какое вы нас ставите поло-

жение! Если станет совсем плохо? Мы же теперь и в будущем лишены возможности ее оперировать.

— И не надо, доктор.

— Тогда, если вы понимаете всю меру ответственности, которую на себя берете, пойдете, и распишитесь в истории болезни, что категорически возражаете против операции. (Может, это на них подействует. Часто, когда мы начинаем просить расписку, и больные и родственники на это не решаются и начинают думать серьезно. Велик еще страх перед бумажкой у нас. Но в конце концов о чем они думают? Какая-то нелепость. Вторая половина XX века, а я на расписку рассчитываю.)

В дискуссию вступает дочь:

— А зачем давать расписку? Если вы будете ее оперировать и она умрет под ножом или от ножа (грамотно говорит), вам же все равно придется отвечать.

??!

(Ну и ну! Ничего себе гуси. Как же ее теперь оперировать?)

— Видите ли, я действительно отвечаю за ее жизнь. И если я настаиваю на операции, так это потому, что я отвечаю. Но отвечать надо за дело. А вы обрекаете на бездействие! Надо сделать все! И за действия свои отвечать. А просто ждать?! Чет или нечет? Выживет или не выживет? В конце концов, в первую очередь должна решать больная сама. Пойдете к ней. Если она откажется, тогда другое дело. А вы распишитесь в отказе. Я сейчас сниму халат операционный и выйду к вам.

Снял халат.

Вымыл руки.

Вытер.

Дал две минуты им. Пусть придут в себя и подумают.

— Света, а где же ее родственники?

— А они ушли.

(Вот тебе и Света! Все равно что упустить больного.)

— Пойдем в палату. Может, они там?

И в палате нет.

— Где же ваши родственники?

— А они сейчас попрощались и ушли.

— Как же нам с вами быть?

— Я не буду оперироваться. Не разрешили они. Да и я сама думаю: лежу я здесь, не лечите вы меня. Вы вот по-лечите как следует. А под нож я всегда успею.

— Остайся, Света, здесь. Поговори с больными. Я пойду других оперировать.

А утром родственники увезли ее. Может, не доверяли нам, увезли в другую больницу?

ПОДГОТОВКА

Утром в метро люди идут поодиночке. Спешат на работу. Днем и вечером чаще едут попарно, по трое. Разговаривают. Утром в длинном переходе метро слышен лишь шорох и стук каблучков и подошв. Днем в переходе — гул разговоров.

В переходе стоит много газетных автоматов. Утром многие подходят к автоматам и с громким стуком выбивают себе газету.

Утром, когда не слышно голосов, когда слышны лишь ноги, слышен непрерывный стук газетных автоматов. Стуки сталкиваются, следуют один за другим.

Так же я себе на слух представляю работу электронно-счетных машин. Только звуки чуть-чуть тоньше и резче.

Я тащился по переходу один. Я устал. Автоматы выщелкивали «Вечернюю Москву». Стуки сливались с шарканьем ног и гулом разговоров.

Разговоры, разговоры.

Интересно, о чем люди говорят в метро? На выбор. Что я услышу? Я часто играю в эту забаву: подслушивание на выбор.

У меня почему-то очень специфическое восприятие. Почему-то я все время слышу разговоры о болезнях или того хуже. Никакого отдыха. Вот пристроился в кильватер к какой-то паре.

— У нас дома несчастье. Умер мамин двоюродный брат. Я его не знаю, а мама видала. Дома у нас поэтому ужасное настроение. Единственный кормилец в семье был.

Очень жалостливое слово «кормилец». И опять у меня в голове кадрируется вся сегодняшняя беседа с женой и дочерью умершего кормильца.

Они сидели передо мной и ничего не знали. Они не знали, что он умер. А я стоял и подготавливал их.

Подготовка, собственно, началась с того момента, как они сказали свою фамилию. А они все не догадывались.

— Как узнать состояние здоровья?..

— Пожалуйста, пожалуйста. Пройдите в эту комнату. Посидите. Доктор скоро к вам придет.

К родственникам умерших все чрезвычайно, чрезвычайно преувеличенно предупредительны. Все. Вся больница. Почему бы родственников живых больных не отводить в специальную комнату, чтобы и они ждали доктора сидя?

Вот никто не виноват в этой смерти. Просто смерть пришла. А все, все в больнице разговаривают с родственниками так, будто кто-то из нас виноват.

Их посадили в отдельной комнате. По-моему, уже можно обо всем догадаться. А они ни о чем не догадываются.

За дверью стала сестра с валерьянкой наготове.

— Что с ним, доктор?

— Он очень тяжелый.

— А что случилось?

— Мы не знаем. Он такой тяжелый, что расспросить его нет никакой возможности. Мы как раз сами хотели спросить вас, что произошло.

Когда его внесли в приемное отделение, дежурных сразу же насторожил цвет лица — синий. В крови мало кислорода. Пульс?! Нет.

Давление?! Нет.

Не разговаривает. Сказал лишь, что на работе ломиком спину задело. Чуть-чуть. А больше ничего не выяснили. Вообще дальше некогда было выяснять. Началось переливание крови в вену, в артерию, искусственное дыхание. Десяток людей билась вокруг, как мухи об стекло.

А он все равно умер.

Мы так и не успели выяснить, что с ним случилось. Конечно, это не ломиком слегка задело.

— ...Вот и не знаем, что с ним. Он очень тяжел, очень.

— Да черт его знает. Нажрался как дьявол в праздники.
(Все еще не понимают.)

— Что, он пьяный был, когда это случилось? Так мы и не успели его выпросить.

(Так и не успели!)

— Последние две недели он все время был пьяный. Запой у него, — с горькой злостью сказала жена.

(Все равно не поняла. Вот тебе и «De mortibus: aut bene, aut nihil* — впрочем, она еще не знает. Дочь же посмотрела на меня и молча спросила.)

— У него какие-то очень тяжелые повреждения были, — продолжал я гнуть свою линию.

— Он вообще очень много пьет, — жаловалась и она.

А мы это уже знали. К нам звонили из поликлиники, откуда врач отправлял его в больницу. Нам сообщили, что он хронический алкоголик и что два раза он отказывался от больницы, что болен он уже три дня, что один раз за ним даже машина «Скорой помощи» приехала, но он все равно не поехал. Поэтому так поздно, поэтому уже такой тяжелый он и попал к нам в больницу.

— ...А напьется — всегда безобразничает.

— Может быть, он выпил что-нибудь, что было смертельным ядом? — Довольно грубо давил я в одно и то же место.

Дочь продолжала молча смотреть на меня, иногда на мать.

— Да кто ж его знает! Он мог все пить. Мы даже на работу к нему ходили жаловаться. Уже никакой мочи не было. Все в доме пропивал. Может, и выпил какой пакости.

Нет, я явно не Талейран, и она мне совсем не помогает.

— А сейчас-то он как?

Наконец-то.

— Сейчас? Сейчас очень плох.

— Да? А что? Жив-то будет? Перенесет?

* «О мертвых: или хорошо, или ничего» (латин.).

— Ммм... Нет... Сейчас просто уже совсем плохо.

— А что плохо-то?

— Умер он уже. — Выстрел.

— А-а-а! — Жена схватилась за живот. — А-а-а! Что ты наделал! Как без тебя будем-то! Кормилец ты наш!

Главное — в это время оказаться поближе к окну. Руками за подоконник и на улицу глазами. На улице мокрый снег, грязь. К больнице подъезжают машины «Скорой помощи».

Сзади слышу стук зубов о стакан: сестра дает валерьянку. Целых пять минут за окном снег, грязь, машины.

— Как же так случилось, кормилец ты наш! Как же не уберегся ты! Не для тебя, верно, операции эти!.. Начальника твоего, толстомордого, потрясти надо!.. На работе, верно, выпил что-нибудь, отраву какую-нибудь!..

Дочь ее успокаивала. Гладила по голове. Рот закрывала.

— Не надо, мама. Мама, не надо...

— Как же это случилось с ним!.. Как же мы теперь будем без него!!! Остались мы с тобой сиротами!..

Я еще что-то говорил, объяснял.

Договорились, что завтра они придут, и я им расскажу, что на вскрытии было. Отчего он умер.

На вскрытие ходил его лечащий врач. Я случайно говорил с ними, потому что он успел уйти, а я был дежурный. На вскрытии я не был. Один мой товарищ, тоже хирург, он вообще старается не ходить на вскрытия — никак не может привыкнуть. Но рассказать про вскрытие им уже должен я.

...И до следующей своей тяжести или, может быть, сильной радости, в этом переходе при медленном вечернем шаге по дороге домой я буду все время вспоминать об одном и том же. Об этом.

Так бывает: в каком-нибудь месте о чем-то подумаешь, и каждый раз об этом все время вспоминаешь, на этом месте. Тем более место это располагает. Длинный, низкий переход. Гул разговоров, шарканье ног и стук каблуков и автоматов.

ПОБЕДА

Десять часов пятьдесят пять минут.
— А теперь пойдете разберем больных с переломами...
— Срочно идите к Хладновой! Помирает!
Плановое занятие кончилось.

Студенты побежали за мной.

Десять часов пятьдесят семь минут.

Она одна в послеоперационной палате. Других больных нет.

Лицо — синюшное, динамичное.

Пuls — как нитка, еле схватывается под пальцами.

Давление — нет.

Лечащий врач налаживает систему для переливания крови.

— Что случилось?!

— Вчера все было хорошо. А вот только что давление упало, посинела.

Четвертый день после операции. Лечащий врач Толя сегодня после дежурства. Движения у него какие-то медленные.

Одиннадцать часов.

Кровь капает из ампулы в трубки. Из трубок в вены. По венам в сердце...

Пuls — как нитка. Давление — нет.

— Пустите кровь быстрее.

Толя вводит в вену какие-то смеси и «коктейли» — витамины, гормоны, глюкозу.

Притащили аппарат и стали давать кислород.

Одиннадцать часов пять минут.

Больная молчит. Лицо и ноги синие. Puls — как нитка. Давление — где-то на сорока, что-то схватывается, и... опять нет.

— Надо начинать переливать в артерию.

Толя:

— Полиглюкин будем переливать.

Толя разрезает руку как раз там, где я только что щупал пульс.

— Что так медленно? После дежурства, что ли?

И вовсе не медленно.

Студенты что-то помогают. Что-то держат. Что-то приносят.

Вот она, артерия. Взята на палец. Наложены нитки. Ввели иголку. Под давлением полиглюкин стал вливаться в артерию и оттуда сразу к сердцу.

Послушаем сердце. Слышно, как постукивает оно там глубоко. (Работает.) Слышно плохо. Может, потому, что сердце работает плохо. А может быть, просто потому, что больная толстая и звук скрадывается.

Полиглюкин вливается. Кровь капает. Кислородом дышит.

Одиннадцать часов сорок пять минут.

Синева стала чуть меньше.

Пульс — тот же.

Давление — сорок.

Больная все время остается в сознании. В сознании! Сознание ли это?

— Дай кисельку! — подтвердила она мои сомнения.

Сейчас ей сорок два года. С тридцати лет она находилась в психиатрической больнице с тяжелой формой шизофрении. Одиннадцать лет продолжалось лечение. Год назад она стала приемлемой для совместной жизни со своими родителями. Полгода назад вновь обострение. Опять больница. А сейчас попала прямо из той больницы к нам.

— Дай кисельку! Дай кисельку!

И еще и еще раз...

— Тише, Люся, ты нам мешаешь.

— Дай!.. Дай...

— Замолчи, тебе говорят! Тебе же хуже от этого. Силы теряешь. — У Толи после дежурства нервы не выдерживают.

Ну и зря. Этого она не понимает. Воспринимает лишь раздраженный крик. И вот результат: крик жуткий, на высоких нотах, ундулирующий.

Присоединилось еще одно требование:

— Уберите трубки!

Но раз есть силы кричать, значит ей лучше.

Кричала она долго. И в двенадцать часов тридцать минут все еще кричала, а пульс — опять нитка, давление — опять не слышно.

Кровь в вену продолжает капать. Вновь начали нагнетать полиглюккия в артерию. Вновь адовы смеси пошли в сосуды ее.

Сил у нее почти уже нет. Но крик остается прежней силы.

В коридоре сидит мать:

— Можно мне уйти?

— Да. Можно.

Сколько лет она уже слышит крик ее. «Можно мне уйти?» — считайте, что мы слышали крик матери.

У Толи опять не выдержали нервы:

— Люся! Послушай меня минутку. Ты кричишь и мешаешь нам. А силы у тебя уходят. А ты и так больна. Я тебя очень прошу — не кричи, пожалуйста. Мы тебе потом все дадим.

Конечно, она воспринимает только тональность этой речи. Во всяком случае, после этого она вдруг замолкает. А я пугаюсь: может, снова упало давление, пульс опять исчез? Хватаюсь за аппарат для измерения давления.

Толя:

— Вы зря испугались. Смотрите, она уже розовая.

— Ничего себе розовая.

— Но по сравнению с тем, что было!

— С подобным не надо сравнивать.

Но Толя прав: давление уже семьдесят, пульс, правда, плох, но и давление плохое — важно, что стало лучше.

А кричать перестала — система Дурова подействовала.

Вышли покурить. Слышу разговор.

Дежурный врач:

— Какой ужас! Она же совершенно неменяема. Одиннадцать лет в сумасшедшем доме. Лучше бы померла.

(Ишь, про других-то как говорит, а если б сам лечил? Померла!)

Толя:

— Тилун тебе на язык.

— Но она ж не человек.

— Сейчас. А что будет завтра, мы не знаем.

— Не знаем! Одиннадцать лет не могли вылечить, а тут вдруг...

— Не говори. А вдруг какое-нибудь лекарство на нее подействует.

— В психиатрии нет лекарств.

— Да ну тебя! Еще больше, чем у нас.

— Ничего они не знают.

Толя:

— Вот так как ты про психиатров, так все вокруг про нас. Что ж мы ропщем тогда? Сами-то...

Дежурный врач:

— Ну ладно, есть лекарства, есть у них возможность, но одиннадцать лет лечения, и... ничего.

— А вдруг завтра станет известно доподлинно, что такое шизофрения и отчего она бывает. Тогда послезавтра лекарство ей в зубы — и через неделю, допустим, она здорова. А мы ее не убереем.

— Манилов! «А в усадьбе пруд, лебеди плавают...»

— Ну, что ж, не лечить ее, что ли?!

— Да нет...

— Так чего зря нервы треплешь!

Действительно, привязался. Что ж, не лечить, что ли?

Сколько раз бывало: всякое лечение уже бессмысленно — ан вдруг выздоравливает. Даже при раке. Пока медицина не

знает всего доподлинно, приходится бороться и в самых бессмысленных ситуациях. Казалось бы, бессмысленных. Да и инстинкт борьбы за жизнь надо холить и лелеять. Нет, биться со смертью надо, а там видно будет.

Два часа дня.

Студенты ушли на другие занятия.

Давление стойко держится на прежних цифрах и не снижается. Это очень мало.

— Надо позвать терапевта. Вдруг еще инфаркт у нее. Хотя и не похоже.

— Да вряд ли. У нее и так хватает всего. Еще инфаркт. Нет, давление не от этого такое.

Терапевт-то посмотрел, но давление вновь стало снижаться. Вскоре нам опять пришлось вливать кровь в артерию.

А Люся опять стала просить киселя.

— Вставьте зонд в желудок, промойте его. Зонд оставьте потом и дайте ей киселя, — сказал шеф. И это было правильно. Она успокоилась на какое-то время: пила кисель, а он выливался через зонд обратно.

Опять пришла мать. Мне кажется, что она все решила. Мне кажется, что для нее дочь уже умерла. Я не вижу на лице надежды. А может, у нее такое лицо все одиннадцать лет? Или последние пять?

— Ну как, доктор?

— Чуть лучше.

— Жива будет?

— Стараемся.

— В Столбовой тоже старались. Больше десяти лет старались.

(Для нас-то годы не существуют. Годы! В лучшем случае дни, а то часы, минуты. Десять лет! Нет, нам некогда.)

Я:

— Ничего. Лишь бы выздоровела сейчас, а психиатры еще,

может быть, придумают что-нибудь. Да и сейчас у них много новых средств.

— Доктор, что вы! Она за эти годы... Она, наверно, не помнит даже... Я десять лет с ней не говорила как с человеком... Сильно она мучается?

— Мы постараемся все сделать.

— Делайте, доктор, делайте. Мне ее повидать нельзя?

— Нет. И без того все тяжело. Она может дать реакцию.

— Ну тогда я пойду, пожалуй. Можно?

— Угу.

В половине седьмого, когда давление было уже девяносто и Люся молчала, так как кисель ей давали, нянечка пошла звать больных на ужин. Она шла по коридору, открывала двери в палаты и выкрикивала больным: «Ужинаты!» И ходячие больные шли в столовую. Подходя к послеоперационным палатам, где лежат больные самые первые дни после операции, она так же машинально открывала дверь и кричала: «Ужинаты!»

Кому?!

Она открыла и нашу дверь и всунулась со своим призывом. В руках у нее была бутылка кефира.

— Это дай! — закричала Люся, увидев кефир. А ведь кефир по трубке вытекать не будет — не может.

Нам бы этот кефир.

Опять пришел дежурный.

— Ну как дела?

— Голова болит.

— С этим-то вы справитесь.

— Да у меня болит.

— Пойди поешь — пройдет.

— Какой ты хороший доктор. Я теперь всегда так буду лечить свою голову. И как я сам до этого не додумался.

— Иди к черту.

Толя совсем ужасным голосом:

— Не склочничайте. — Он ведь после дежурства.

— Иди домой. — Это я Толе.

— Иди к черту. — А это он мне.

В восемь часов вечера давление стойко держится на девяносто. А несколько раз поднималось даже до ста.

Толя был доволен и каждому входящему говорил:

— Прошу вас, имеет место давление, равное стам. — И добавлял: — Ну как мы дали, а?

Все говорили, что дали мы хорошо.

Десять часов. Давление — сто десять верхнее. Пульс — сто двадцать в минуту, слабоват, но все же... А синюха исчезла.

В одиннадцать часов Толя мне:

— Ну как мы дали, а?

— Имеет место. — Ответил я. — Поехали, я тебя на такси до дому довезу.

— Если такси будет иметь место, всячески приветствую, — согласился он на тридцать девятом часу своего рабочего дня.

В такси он сказал:

— Все ж это победа.

— Имеет место победа, — согласился и я.

АППЕНДИЦИТ



Если болит живот, я ставлю грелку. Так меня с детства приучили. Но в этот раз грелка не помогла. Боли почему-то стали больше. Я решил было еще потерпеть, однако становилось все хуже и хуже.

Врач, который меня смотрел, сказал, чтобы я не беспокоился, что у меня пустяки — банальный аппендицит.

Ему, может быть, и пустяки. Аппендицит — это же операция! Удивительно не вовремя — у меня как раз сейчас столько дел. Я так и сказал врачу. А он сказал, что болезни, особенно операции, никогда вовремя не бывают. Может быть, он и прав.

Раз аппендицит, раз операция — надо быстрее. Машину вызвали, а ее нет и нет.

А может, это и не аппендицит вовсе? Но живот болит. И болит все сильнее. Температура тридцать семь и два. Не знаю, зачем я ее мерил, но делать что-то надо. Ведь аппендицит — операция. Грелку ставить категорически нельзя. Лекарства принимать тоже не разрешили.

Прошло еще десять минут. А машины все нет и нет.

Как же так! Нужна операция. Уже прошло двадцать минут — и никакой машины.

Машина приехала через час. Дома у нас стали их упрекать — мол, очень медленно и прочее. Фельдшера, одетые почему-то в черные шинели, ответили, что аппендицит — дело не такое уж срочное. (Дело! Им дело, а мне операция.) Что час-другой никакой роли не играет.

Конечно, им говорить легко. Да собственно, и я мог ждать. Но каково ждать, когда тебе сказали, что нужна срочная

операция. Почему я должен знать, что есть операции срочные, сверхсрочные, полусрочные.

— Это не внематочная беременность, — говорят фельдшера. — Можно и подождать.

Может быть, может быть.

Привезли меня в больницу.

Здесь тоже не торопятся. Фельдшера «Скорой помощи» разговаривают с сестрой приемного покоя. Рассказывают про меня, наверное.

Я сижу на скамеечке.

В ожидании оформления я и не заметил, как у меня пропала фамилия — все называют меня только «больным». Сестра говорит — «больной». Санитарка говорит — «больной». А может быть, это ошибка — может, я не больной? Ведь доктор меня еще не смотрел. Они здесь как следователи, которые всех, к ним попавших, уже считают обвиняемыми.

А чуть скажи сестре или няне: «Я ж больной», — отвечают: «Еще неизвестно. Может, доктор посмотрит, и мы вас отпустим домой».

А доктора все нет и нет. Я уже десять минут в больнице. Я спросил, где же доктор, а мне сказали, что доктор занят, что ничего срочного у меня нет.

Зачем же тогда говорят, что аппендицит — это так срочно?

Минут через тридцать пришел доктор.

Доктор посмотрел мои бумаги и обратился ко мне по имени и отчеству. Он, наверное, не хочет считать меня больным. Но все равно пришлось: говорит, что будут делать операцию.

— Когда?

— Сегодня — как операционная освободится и подготовят там.

А потом меня стали мыть. Повели в душ.

* * *

Быстро вы его привезли. Там еще и аппендицит-то, наверное, не бог весть какой. Конечно, он болен всего-то три часа. А уже недоволен: говорит, машина долго не приезжала.

Ух и разбаловались. Все от жиру. Я ему говорю: «Больной». А он недоволен. А почему ж нет? Раз у него живот болит — значит, больной. А если считает, что он не больной, почему недоволен, что машина долго не ехала? Вот и пойми их! Да ведь вон их как много. Машина за машиной. Я в этих бумажках запуталась. По диагнозам-то мне легче их разобрать. По диагнозам и возрасту. А в именах я запутаюсь совсем. Больной — так легче и надежнее. Раз уж ты попал сюда — значит, больной. Просто, может быть, болезнь не бог весть какая — может, можно и отпустить.

Они-то думают, раз это аппендицит — значит, все ужасно, значит, операция. А может, аппендикита еще и нет? Да и подумаешь, операция какая! У нас их вон как щелкают — один за другим.

Отправила его мыть. А оттуда в отделение.

Сегодня у нас хорошо идет работа: только привезли — и уже наверх.

* * *

Ишь! И мыться не хочет. «Чистый», — говорит. Все они чистые. Моются, моются, а операционные все равно ругаются — плохо их моем мы, говорят.

Чистые, чистые, а мыться все равно надо. Это им операция, а не так просто. А почему бы и не помыться ему? Душ, все чисто — мойся себе. Одно удовольствие! К тому же и положено мыться — значит, нечего. Вот уж сколько работаю, а до сих пор к порядку приучить не могу. Не хотят мыться — и все. А вот только если прямо с завода или со стройки привезут — те сразу моются.

«Вчера, — говорит, — мылся». А операция-то сегодня. «Живот, — говорит, — болит». Конечно, болит. У всех здесь болит. А ты живот-то остороженько — не три его. Да и не

поймешь их, не угодишь им. «Стоять, — говорит, — под душем трудно». — «В ванну, — говорю, — ложись тогда, я помою». Не хочет. «Лучше, — говорит, — под душем». Хорошо, когда тяжелый больной, с прободной язвой, к примеру, или там из-под машины, когда помыть можно. Он на носилочках. Его протрешь мочалкой с мылом, руки, ноги и еще, что можно только мыть, — он и не возражает. Или еще хорошо, когда почечная колика. Это больно, больно. Они ведь все с почечной коликой — ну прямо на стенку лезут, крутятся. Им говорят: в ванну быстрее — сразу легче станет. Эти — без разговору. Только успеешь воды туда налить — сразу! Лишь бы легче стало поскорее. С ними спокойнее. А там, как ему в ванне полегчало, так он от радости слова не скажет — моется.

Ну, подала я его наверх, в отделение.

* * *

Подняли меня на лифте в хирургическое отделение. Я думал, сразу в операционную. Оказывается, сначала кладут на кровать и чего-то ждут. Операционная занята, хирурги заняты, и прочие причинки. А больные говорят, что иногда ждут просто, чтобы сразу несколько поднакопилось, тогда они их и оперируют (впрочем, что я — нас) всех подряд. Им, видите ли, легче: операционную не надо разворачивать по нескольку раз. Лишнее белье, говорят, не тратят, лишний материал... А мы лежи, да?!

Я говорю сестре:

— Ну почему же меня не оперируют?

(А в глубине души доволен, что оттягивается час этот.)

А она:

— Да вас только что привезли.

А ведь уже сколько времени прошло, как я заболел!

Говорят, если бы прободная язва, вот тогда бы сразу на операционный стол. А так спешить нечего. Успеется. У меня уж и болит не так: уж очень неохота оперироваться, быстрее бы к какому-нибудь одному концу.

А они все ссылаются на разные заболевания. Я уже жалел, что у меня не внематочная беременность, что не прободная язва желудка. А доктору говорю:

— Я уж скоро шесть часов как животом-то маюсь. — Решил шутить.

Так доктор тоже:

— Вот если ущемленная грыжа, тогда мы уж должны думать о шести часах: после этого срока, — говорит, — кишка может стать зело плохой. — Ему легко ерничать. — А аппендицит — это не сверхсрочная операция.

Но все-таки сделали мне вскоре укол в руку и повезли в операционную. Тут уж все серьезно. Положили на каталку и торжественно повезли.

* * *

Сегодня очень неудачное дежурство. Почти всем больным уколы поназначены. И температура уже нормальная, а все равно антибиотики дуют. Ну и пусть, что антибиотики не для сбивания температуры — все равно можно бы и отменить половине. На двадцать пять моих больных пятнадцати делают уколы, да некоторым еще разные. А пенициллин, например, четыре-шесть раз в день, стрептомицин — два раза в день. Ну, витамины там утром сделаешь — и все. Да еще внутривенные вливания делать надо. Еще капельницы надо ставить. И кормить я должна. И как раз когда полно дел — ему, видите ли, оперировать понадобилось. Нельзя, что ли, отложить немного? Подумаешь, аппендицит! Дело какое! Обождет немного. Нет, поднял крик. Говорит, больной лежит нервничает. Больной-то лежит, ему и болит-то не очень — может и обождать чуть-чуть. А я совсем с ног сбилась. Ведь, если посчитать, я уколов сто должна сделать. Да еще кормить как раз сейчас. Ведь он-то о еде не думает, что время пришло. С этим дурацким двухступенным обслуживанием — нянечка не должна кормить. А ведь больного только-только привезли. Ничего, подождут немного.

А знаете, какой скандал он поднял в операционной, что ему не сразу больного привезли?! Говорит, что уже пятнадцать минут стоит в операционной помытый.

Ведь стоит, ничего не делает. Подумаешь! Трудов-то!

* * *

Меня привезли в операционную, а там такой крик! Я даже не понял, в чем дело. Хирург чем-то был недоволен. Вроде ждал, что ли, нас долго? А чего он-то ждал?! Это я всех торопил. А он ведь ничего не ждал. И на кого он кричал, тоже не понял я. Только очень это неприятно — должен меня оперировать, а уже на взводе.

Все нервничают. Что же дальше будет?

Потом уложили меня на стол.

* * *

До каких же пор будет продолжаться это безобразие! Я уже пятнадцать минут стою помытый, с поднятыми руками, а у нее, видите ли, дела. Пятнадцать минут. За это время можно и иной аппендицит сделать. Как расхищают время! Просто ужас! Я стою. Операционная сестра стоит. Все ждут. Больные внизу поступают. А она занята! Да что же это за дела такие?! До сих пор не поймут, что главное в хирургическом отделении — это операционная. Будто уколы не может сделать позже. Будто покормить позже нельзя.

Надо же так издергать перед операцией, а еще какой аппендицит будет — не известно. Аппендицит им, видите ли, пустяки. Безобразие!

* * *

Вот ведь кричит! А если не сделаю вовремя все вливания, опять кричать будет. Ведь это же действительно надо сделать вовремя. Что сама операция, если все не делать как следует после. Больных надо накормить, пока все горячее, пока

все не остыло. Если больной пожалуется, что ел холодный суп, он же опять будет ругаться.

Ну, постоял немного. Подождал. Подумаешь, беда какая! Ну, понервничал немного больной еще — что случится-то от этого? А меня вот издергать перед тем, как к больным идти, ничего не стоит. И ведь придут больные — тоже будут чем-нибудь недовольны. Как этот: «когда, наконец, будет операция? Когда, наконец, будет операция?»

* * *

Что они дергают друг друга? Ведь сейчас они меня будут оперировать. А уже нервничают.

Ну, слава богу. Накрыли простынями. Как это неприятно. Они со мной что-то делают, а я ничего — полная пассивность. И добровольно. Как это неприятно, быть вот такой игрушкой в чьих то руках.

— Доктор, а может, не надо делать? Может быть, нет аппендицита? — Как это вырвалось у меня — и сам не знак. Но может быть, они действительно ошиблись?

* * *

— Да вы не волнуйтесь. У вас аппендицит, и операция необходима. Вы же сами это отлично понимаете. Зачем же зря говорить все это? Не надо зря нас нервировать.

* * *

Операционная сестра:

— Ну и быстро ж вы его сделали!

* * *

Не успела я прибежать и начать кормить больных, как уже велели ехать за больным. Здорово он их оперирует! Ну мыслимое ли дело так работать?! А чуть задержишься, опять крик, что заставляю больного после операции лишнее

время лежать на столе. А всего-то аппендицит. Подумаешь, пустяки какие!

* * *

Мне казалось, что операция длилась очень долго. А мне все талдычили про какое-то очень малое количество минут.

* * *

Аппендицит оказался не бог весть каким тяжелым. Но все же ненавижу, когда аппендицит считают пустяком. Живот режем — а тут вдруг «пустяки», говорят.

Просто это, к сожалению, стало привычно. Больно много его, аппендицита.

И все-таки аппендицит лучше делать под общим наркозом.

* * *

Через семь дней я выписался.

МИСТЕРИЯ В ПИСЬМАХ

Дорогая мамочка!
Наша Галечка болеет вот уже несколько недель. У нее появилась температура и боли в животе. Врачи из поликлиники несколько дней ходили и ничего не говорили, а потом сказали, что Галю нужно отправить в больницу. К каким только врачам я не ходила, и где же мне взять такого врача, чтоб хоть объяснил все. Ей совсем не лучше.

Мы с Колей долго думали и, в конце концов, положили в больницу, так как ей становилось все хуже и хуже.

В больнице сказали, что у нее больна печень, и начали лечить от этого.

Мамочка, Гале не лучше, до сих пор большая температура, а теперь еще они консультируются с хирургами, чтобы перевести ее в другое отделение для операции. Что с ней, и зачем оперировать, и что они собираются оперировать, — мне ничего не говорят, а мы и боимся спрашивать. Галечка очень плохо выглядит: похудела, желтая — стала совсем не та девочка, которую ты видела еще летом. Мы с Колей ужасно как переживаем, очень волнуемся и каждый день бываем в больнице.

Утром и в обед хожу ее кормить, а вечером мы с Колей вместе бываем у нее.

Мне очень страшно, мамочка, и, если с Галей что случится, я не переживу.

Все, я и Коля тоже, надеемся на врачей.

Ну, до свиданья, целую тебя, мамочка.

Желаю всем нам, чтобы кончилось благополучно, а что будет новое, я тебе сразу подробно напишу.

Твоя дочка Катя.

Привет, Старик!

Тебе, столичному жителю, может, будет интересно узнать, как мы входим в жизнь, пробивая стены медицинской заскорузлости в провинциальных больницах?

Надо сказать, что врачи здесь ничего себе (впрочем, не знаю, как другим — но это я, старик, шучу) — понимают иногда и за жизнь и за медицину. Но они тут до смерти боятся всяких жалоб. Но ведь так ясно, что хирургия — риск и романтика, хождение по краю, и без огрехов не обойтись, но они боятся, и с этим можно бороться только с оружием в руках. И я, прославленный Амадис Гальский, опускаю забрало.

А почему? Да потому, что они иногда предпочитают не оперировать, в то время как, по нашим с тобой понятиям, самый раз рискнуть.

Когда я начинаю что-то доказывать и бить копытом землю, меня просят не чирикать и вполне традиционно говорят нечто про молодое и зеленое. Пробить их твердокирпичную уверенность в моей излишней молодости невозможно даже моим закаленным в Дамаске копьем, а таран я еще не приобрел и потому смиряюсь.

Впрочем, когда я вспоминаю, как тебя, соколика, как и всякого аспиранта, гоняют, смешивают с пищей для воробьев и, вообще, лишают начисто собственного мнения, на душе становится легче и спокойней. Всегда ведь легче, когда вспоминаешь, что ближнему не лучше, ибо возлюбил я ближнего своего, как самого себя.

Я представляю, как ты высказываешь свое мнение, когда шеф начинает делать вид, что он — солнце русской хирургической демократии, а в это время тебя никто не слушает, тебе никто даже не возражает, никто не напоминает о твоей молодости — мне «отшень легче».

Впрочем, старик, прости мне мою злобность, просто я только что поругался со своим завом.

Понимаешь, перевели нам девочку из детского отделения.

Она лежала там с гепатитом, а сейчас переводят с диагнозом поддиафрагмальный абсцесс. Ничего себе диагноз? Вообще-то тут не подозрения, а полная уверенность. А зав говорит, что нечего оперировать. Надо ждать. Видишь ли, диагноз ему неясен! Я с ним ругался до одурения. Но он меня быстро поставил на место обычными, безошибочно убивающими приемами.

Хочется выть, дорогой мой.

С хир. приветом. Я.

* * *

Глубокоуважаемый Николай Павлович!

Вот уже десять лет, как я уехал от Вас на самостоятельную работу, но до сего часа продолжаю мучить вопросами, сомнениями, письмами, когда очередной тяжелый больной выводит меня из равновесия. Каждый раз я вспоминаю все, что было в Вашей клинике, пытаюсь найти в памяти своей аналогичные случаи, и Ваши решения, и наши действия; и стараюсь прийти к решению и действиям соответствующим.

Вот и сейчас в очередной тяжелой ситуации мне очень не хватает Вашего профессорского, не по званию, а по истинному пониманию больных, осмотра и совета. Я пишу Вам сейчас чисто платонически и никаких советов не жду, потому что все решается в столь короткие сроки, что письмо и не успеет дойти до Вас.

У нас лежит больная 12 лет, у которой подозревался поддиафрагмальный абсцесс. Мне казалось, что у нее тяжелый формы гепатит. Но Вы сами знаете, как трудно отбивать наскоки только что кончивших юнцов, склонных к чреватому радикализму, каким был и я, которые требуют немедленных операций. Своим энтузиазмом они умудряются вдохновить всех вокруг, не имея и разумных для того оснований.

В конце концов, у девочки наступило внезапное ухудшение с явлениями перитонита, который и подтвердился на операции. Мы только осушили брюшную полость, вставили тампоны, дренажи, ввели антибиотики.

Надежд, сами понимаете, очень мало.

Как всегда в таких случаях, родители на нас не смотрят, да так, пожалуй, и лучше.

Как бы Вам не пришлось разбирать в центре этот тяжелый наш промах.

Вот такие у нас дела. Извините, что я Вас так часто тревожу и пишу всегда лишь про неприятности и редко про удачу и радости — ведь про неприятности мы всегда чаще говорим.

Боюсь, что придется к Вам приехать. Не хочется, чтобы радость свидания с Вами омрачали тяжкие разбирательства.

Очень хочу Вас видеть.

Всегда Ваш

Сергей Авилов.

* * *

Здравствуй, мамочка!

С Галей совсем плохо. Ее оперировали, а теперь говорят, что надежды мало. Говорят, что гной разлился по всему животу. А сами несколько дней держали и не оперировали. Но разве у них теперь добьешься правды.

Приезжай, пожалуйста, если можешь. Очень нам плохо.

К а т я.

* * *

Срочно выезжай. К а т я.

* * *

ЭПИКРИЗ

...12 лет, поступила в хирургическое отделение больницы с диагнозом: поддиафрагмальный абсцесс. В отделении на основании умеренной болезненности в области печени, некоторого увеличения ее, незначительной желтухи, повышенного билирубина в крови, отсутствия указаний при рентгеновском исследовании — диагноз поддиафрагмального абсцесса был отвергнут и поставлен диагноз гепатита. Однако за время пребывания больной в отделении наметилась тенденция к ухудшению.

Ухудшились функциональные пробы печени. На четвертый день пребывания в отделении внезапно развились сильные боли в животе, последний стал напряжен, появились отчетливые признаки раздражения брюшины.

С диагнозом разлитой перитонит больная была оперирована под общим обезболиванием. При операции диагноз разлитого гнойного перитонита подтвердился. Источник локализовался в области печени, по-видимому, прорыв поддиафрагмального абсцесса. Точно локализовать источник гнойного процесса не удалось.

Через сутки после операции при явлениях падения сердечной деятельности...

* * *

Глубокоуважаемый Николай Павлович!

Не мог удержаться, чтобы не написать Вам о ходе дальнейших трагических событий в связи с той больной девочкой, о которой в предыдущем письме я позволил себе столь долго задерживать Ваше внимание.

Вы себе представить не можете, каково было мое самочувствие, когда был обнаружен разлитой перитонит и я решил, что это результат прорыва поддиафрагмального абсцесса, которого, я-то считал, что нет. Я себя клял и ругал. Я давал себе слово прислушиваться к тому, что говорят молодые, что я самонадеян, стар и уже не гожусь. Ну Вы же знаете, что мы говорим себе в подобных случаях. Девочка, конечно, умерла от такого перитонита через сутки после операции. Эти двое суток — от операции до вскрытия — я прожил в каком-то ужасном кошмаре. А ведь если подумать, то даже поддиафрагмальный абсцесс при правильно поставленном диагнозе и правильно сделанной операции может ведь все равно привести к смерти. Я себя оправдывал, и клял, и давал обеты.

А сегодня утром было вскрытие. Представляете, дорогой Николай Павлович, какова была моя радость, когда выяснилось, что никакого абсцесса не было, а это просто злостное

воспаление печени, дошедшее до некрозов, распада и нагноения. Патанатомы дали заключение, что заболевание несовместимо с жизнью. Никакой нашей и тем более моей вины нет.

Это я и хотел сообщить Вам.

До свидания, дорогой Николай Павлович. Постараюсь вы-
брать время и хоть ненадолго приехать и побывать у Вас.

С уважением С. А.

* * *

Привет тебе, отче, от инока из скита!

Ваше благолепие, чего в нашем скиту деется, не сказать в словах человеческих. Наш преподобный игумен Сергей учинил побоище нам, молодым басурманам, а буде мы и впредь морды к луне поднимать и непотребно противу него выть, то обещал и вовсе повелеть братьям келейным нас, иноков, посечь. А все оттого, что, невзирая на немислимые деяния, отроковица погибла. А на вскрытии, богопротивном сечении тела, было признано, что вины лекарей никакой нет, ибо недуг, снедавший и сгубивший ее, был с жизнью несовместим.

Видал бы ты, старче, как возрадовался наш отец настоятель, что вины его нету.

И сказал он нам:

— Идите ко мне, ибо иго мое благо. Возьмите иго мое на себя, научитесь от меня и найдите покой душам вашим. Помните: вам подобает слушаться, а мне распоряжаться. И у каждого, усомнившегося во мне, рука да отсохнет. Имеющий уши да слышит.

И сказали мы:

— Ты сказал, отче, а ведь девочка-то померла. И какая разница — чья вина, а? Вот я и вою, дорогой мой, на луну. Да, собственно, и винить никого нельзя, старина. Просто, на-
верное, такая у нас профессия.

Прости, старче, инока смиренного за мысли греховные.

ВСЕГО ПОЛГОДА

П о в е с т ь

БОРИС

Рядом со мной освобождается место. Мужчина встал и стоит около диванчика. Никак мне не пройти, не сесть. Ну отошел бы чуть. Только ведь чуть продвигаться надо. И я бы мог сесть.

...А ведь и сам-то я в этой толпе тоже встал бы здесь и не продвинулся. Подожду еще.

Слышу родное слово «врач».

— Не люблю я к врачам ходить.

— Ага. Точно. Я тоже.

— К ним придешь — анализ сразу. Время проходит. Ждать долго.

— Да. И вообще, ну их к черту.

Троллейбус болтануло. Трех собеседников почти повалило друг на друг. Почти. Все остались на своем месте. Лишь мысли перепутались.

— Может, в столовую пойдем? Бутылку по дороге купим.

— Ага. Точно. Пойдем в столовую.

— Сейчас как раз и магазин.

И выкатились из троллейбуса.

Троллейбус идет по пыльной улице этого города. Нет, по пыльным улицам этого города. Всюду асфальт, грязи нет, бульвары есть. Почему же город такой пыльный. Это самый пыльный из всех городов, в которых мне приходилось бывать. А может, и не самый пыльный, просто сейчас очень жарко, и потому кажется так.

Впереди какая-то женщина с наступательным лицом кричит на парня. Он сидел и читал, а сзади старик стоял. Впрочем, она не кричит. Она просто громко сказала: «Молодой человек,

уступите место старику». Сразу и молодого уколола и старику не бог весть, наверное, как приятно. Зато она довольна. Лучше бы тихонько тронула парня да знаком бы и показала. Нет, ведь хорошее дело приятно громко сделать.

Просто у меня настроение пыльное какое-то. Давно ничего хорошего не было. А отсутствие плохого — это так мало.

Какая духота! Пока доберешься до больницы — одуреешь. Наконец больница.

Конференцию я прослушал. Тоже, наверно, из-за духоты. Обход.

Бабушка. Семьдесят пять лет. У нее язва на ноге. Не заживает язва. И не заживет, очевидно. Надо делать перевязки, и больше ничего. И перевязки-то редкие нужны.

— Язва все-таки поменьше стала.

— Да, сынок. Не болит сейчас. Но и не заживает.

Не люблю, когда меня на работе сынком называют. Хотя ничего удивительного нет. Могла бы и внучком назвать. А еще больше не люблю, когда обращаются: «Врач». Доктор — это привычно и спокойно. Может, с точки зрения буквы этого титула и неправильно, зато привычно. Представьте себе: «Врач, у меня нога болит». Правильно, но странно.

— Она плохо будет заживать. Надо раз в пять дней делать перевязки, и все. Мы вам дадим бумагу для поликлиники и там все напишем — какие перевязки делать.

— Выписывать будете? Мне тоже здесь надоело. Выписывайте.

— Пусть зайдет кто-нибудь из ваших ко мне. Я все объясню. — К сестре: — Когда придут ее родственники, пусть обязательно найдут меня.

— Что вы плачете? — Это я уже следующей больной. — Маленькая опухоль. Страшного ничего нет. Но я вас предупреждаю: если будет хоть малейшее подозрение на перерождение в злокачественную — мы уберем всю грудь. Зачем нам с вами жить и бояться? Тут перестраховка, может быть, даже должна быть. При малейшем подозрении лучше убрать все и

жить спокойно. Пока рака нет, легко и оперировать, легко удалить эту опухоль. Но когда она станет злокачественной... Сами понимаете. И не плачьте...

Когда чувствую, что не могу убедить, — я говорлив, многословен. Улыбаюсь. Бодрюсь — и думаю, что это заразительно.

Следующая больная. Я ее оперировал полтора года назад. У нее был гнойный желчный пузырь с камнями. А теперь на месте операции грыжа.

— Вас вчера положили?

— Да.

— Давайте посмотрим еще раз.

Грыжа маленькая. Стоит ли делать операцию?

— А что, болит она?

— Нет. Болей нет. Но смотрите, какая складка на животе получилась. Я хочу быть красивой. В конце концов, мне только сорок лет.

Конечно. Верно. И это — показание для операции. И это ее право. Патология есть — устранить ее можно. Нечего и разговаривать.

— Ну хорошо. Когда будет операция, я скажу вам. —

— Только я хочу, чтобы вы оперировали. Я специально искала, куда вы перешли, в какую больницу.

И это, конечно, ее право. Досадно, что больные часто не могут выбирать себе врача. В поликлинике — только к участковому. В хирургии на операцию — кого назначат. А чего ей, собственно, охота, чтоб я ее оперировал? В конце концов у нее осложнение после первой операции. Может, я в этом виноват...

— Что вы молчите? Я хочу, чтобы вы оперировали. Я пойду к заведующему и буду просить.

— Хорошо, хорошо. Только это не имеет значения. У нас все хорошо оперируют, кому доверены эти операции.

— Нет, я хочу...

И все-таки меня немножко раздражает, когда больные выбирают себе оперирующего. Пришли в больницу, доверяют

больнице — так в больнице пусть и решают, кому что и кого оперировать. С другой стороны, это естественно — выбирать себе хирурга. Ведь не платя ж выбирают, а кто тебя резать будет. Платя-то, кстати, сам выбираешь. И все-таки в больнице врачи знают, какая операция под силу каждому из нас. Один лучше делает одни операции, другой — другие. А больные ведь этого не знают. Может быть, например, холецистит я оперирую хорошо, а послеоперационные грыжи — плохо. Но и вера больного имеет значение.

Что я сейчас пытаюсь найти теоретическое решение этого вопроса — оперировать-то все равно буду я. Мое осложнение — значит, сам и должен расхлебывать. Вот если не чувствую себя в силах или если меня не считают в силах это сделать, тогда к старшим. Вот и вся дискуссия.

К следующей кровати. Отходя, все же взглянул опять на эту больную. Она-таки здорово кокетлива. Да ладно, аллах с ней.

— Ну, как рука?

— Сегодня меньше болит. Перевязка будет?

— Да, конечно. Идите сразу в перевязочную.

Три с половиной месяца назад она стукнула палец. Маленькая ссадина. А уже через день — флегмона кисти. Гной на кисти — очень тяжелая вещь. А когда привезли — флегмона оказалась газовой. Очень плохо было — почти гангрена. Всю руку разрезали, чтобы отток гноя хороший был. А флегмона дальше ползет. Думали, придется отрезать до локтя. Еще делали операцию. Перевязки каждый час... Руку удалось спасти. А раны сейчас заживают.

В перевязочной.

Да-а. Рана-то хорошо заживает. Но как рубцы стягивают! Кисть будет скрючена. Тугоподвижность. Нужно физкультурой заниматься.

— К вам физкультурник ходит?

— Ходит. Ломает мне руку каждый день. Больно.

— Но этого недостаточно. Вы и сами должны заниматься.

Несколько раз в день. Иначе руку согнет, и вы не сможете ею пользоваться. Скрутит ее. — Я показал, как ее скрутит.

— Так не надо было мне руку в гипс класть. Конечно, она теперь такая.

— Что ж, по-вашему, врачи виноваты, что рука такая?

— Конечно, врачи. Надо было с первого дня руку разрабатывать, а не в гипс класть.

— Но ведь раньше нельзя было.

— А нельзя, так пересадку бы сделали.

— Пересадку опасно было делать.

Черт возьми, в чем-то она права. Но это сейчас. А поди угадай вначале: то ли отрезать руку, то ли спасти удастся. Все же руку спасли.

Сестра мне шепчет:

— Сама она совсем не занимается. Она считает, если рука не разработается — дадут вторую группу инвалидности.

Конечно, ее положение тяжелое. Одинокая женщина. Специальность печатницы она потеряла — это в любом случае. А дадут третью группу инвалидности — на что ей тогда жить? Третья группа — рабочая. Надо работать — а кем? Нет, единственная надежда — разрабатывать руку.

— Вы с мячиком упражняетесь?

— А где я его возьму? У физкультурницы нет, а мне некому принести.

Сестра шепчет:

— Я принесла ей. Дочкин. Отдам после.

Она:

— Да тут мячиком не поможешь. Надо было лечить как следует.

— Родненькая, руку-то вам спасли. Ведь ее чуть отрезать не пришлось. А вы врачей вините.

— Да я не вас. Вы же только недавно пришли.

— При чем тут я! Вы вините врачей, которые руку вам спасли. Вам сделали все возможное, даже невозможное, и все-таки спасли руку. Теперь вы нам тоже должны помочь. Одни

мы не справимся. Конечно, если хотите иметь более или менее полноценную руку.

— А-а! — махнула рукой, здоровой, и ушла из перевязочной.

Нервничает она.

В операционной.

Я оперирую опухоль груди. Приходится удалять всю грудь. Больная под наркозом — не слышит, что происходит вокруг. На другом столе заведующий отделением удаляет щитовидную железу: больная у него — доктор из соседней поликлиники. Операции эти у нас делаются под местной анестезией. Зав все время разговаривает с больной.

За своей спиной я вдруг слышу какой-то странный звук. Как будто с трудом воздух входит в легкие. Оборачиваюсь. Больная у зава лежит синяя и силится впихнуть в себя воздух. Спазм гортани! Надо что-то делать. У меня кровь хлещет — я отойти не могу. Те тоже, по-видимому, не могут оставить рану.

В операционную вбежала Лидия Сергеевна. В этом году только кончила. Только начала работать. Справится ли? Поймет ли? Сумеет ли?

Лидия Сергеевна схватила трубку и вводит ее в гортань. Молодец!

Но это трудно. Сумеет ли?

Молодец, что додумалась, что не мешкает. Сейчас спасти может только она.

Я накладываю зажимы на сосуды и все время оборачиваюсь. Может, бросить, помочь? А пока — быстрее, быстрее — останавливаю кровотечение.

У Лиды не удастся. Больная уже просто черная. Сестра мерит давление. Кто-то щупает пульс.

— Давление сто десять — пятьдесят.

— Пульс более или менее.

Лида запикивает трубку.

Я останавливаю кровотечение. Голова моя крутится: то в сторону Лиды, то обратно к своему столу.

Может, оторваться мне — тут уже не так страшно. Потом доделаю.

Сестра подвозит аппарат для искусственного дыхания кислородом.

Вставила! Молодец! Кислород пошел по трубке. Что-то капает в вену.

А вот и еще доктор притащился. Кислородную подушку приволок. Ну зачем это?! Ведь известно — все это вздор. Какая там подушка! Вот Лидия Сергеевна молодец. Она все сделала правильно. И сделала быстро. А этот подушку тащит!

— Что вы делаете? Идиотство. — Это уже Лидия Сергеевна начала реагировать на окружающее. — Кто же сейчас пользуется подушками? Как вы ей поможете подушкой? Это же спазм гортани. Неучи!.. Ну и болото.

Боже мой! Какая дура! Бестактная, неделикатная, грубая дура. И нет сейчас никаких оснований для крика, больную спасли. Разве что собственный успех — основание. Старого доктора надо переучить и сделать это осторожно, деликатно. А не орать. Ведь он лет на тридцать старше ее. Подумаешь, пигалица. Выучилась в институте, а посмотрим, какая она будет через тридцать лет. Он-то, конечно, сегодня неуч. Но слушать ее противно. И выглядит она неприятно: стандартная прическа, ноги длинные, как у цапли...

— Прекрати орать! Ты мне мешаешь.

— Я вам тут всем мешаю!

Вошла в раж.

Больной-то она по-прежнему занимается. Делает все хорошо, правильно. Доктор она замечательный, хоть и несколько месяцев всего работает.

Больную, конечно, спасла она.

Сегодняшний операционный день кончился в общем благополучно.

В коридоре.

— Вас ждет муж Сувориной — старушка с язвой.

— А-а. Сейчас иду. Пусть подождет чуть-чуть. А он тоже старичок?

— Конечно.

— А у нее нет молодых родственников?

— Чего-то она говорила насчет сына, но за все полтора месяца, по-моему, его ни разу не было.

— Ну ладно, сейчас.

Заведующий отделением идет прямо ко мне.

— Слушай, Борис, что делать с этой пигалицей, с этой столичной штучкой?

— А что?

— Ну ты подумай, обругала его по-хамски. Может, она и права по существу, но нельзя же так.

— Ну что вы можете сделать? Невоспитанная, грубая девчонка. А где она?

— Сидит около больной. Не отходит. Выхаживает. Когда ведь спасешь, и уходить-то обидно. Свое становится, а?

— Это да. Видно будет, что с ней делать. Чего сейчас-то думать?

Подходит обруганный.

— Я вам официально заявляю, Василий Петрович, что так это я не оставлю. Какая-то девчонка, без году неделя врач, позволяет себе кричать на меня. Она ведь сама пока еще ничего не умеет и ничего не знает. Мне ведь все совершенно ясно.

Вот ведь положение.

Она, безусловно, права. Но и он тоже прав. Скажи она по-другому или, еще лучше, вовсе промолчала бы... Ему ж все равно наука. А как бы все было спокойно. А теперь покрутиться придется. Поди разберись.

— Ну что ты шумишь? — зав сдвинул шапочку на нос и вполне традиционно поскреб затылок. Удивительный жест: вечно он вылезает в таких ситуациях. И впрямь тогда лег-

че. — Ведь молодая еще. Многого не знает. Вести себя не умеет. Мы ее, конечно, обругаем. Но ты-то чего потащил эту подушку, когда трубку она уже вставила? А ее мы, конечно, обругаем.

— Обругаем! Я потребую публичного извинения!

— Ну, ладно, потом поговорим. — И ко мне: — Слушай. Там эта, твоя. С рукой, как ее?.. Дубова. Будет жалоба. Я тебя прошу, пиши историю болезни поподробнее и как следует. Здесь наверняка будет разбирательство. Ей же дадут третью группу — она и будет жаловаться на нас.

— Стараюсь. Пишу.

Старик там ждет меня. Иду к нему.

— Здравствуйте. Вы муж Сувориной?

— Да. Я.

Что-то он очень лаконичен. Ну посмотрим.

— Вашу жену мы на этой неделе будем выписывать.

— А почему это? У нее еще язва не зажила.

— А давно у нее язва-то?

— Так уж лет пятнадцать. И до сих пор не могут вылечить. Не лечат как следует.

— Во-первых, это не потому, что не лечат. Мы не умеем лечить эту язву. Надо было лет десять назад операцию делать. А теперь лечить надо только перевязками. Чтоб не болело.

— Вот и надо было делать операцию.

Старичок-то крепкий на вид. И довольно агрессивный. Или просто экспансивный, экспрессивный, интенсивный... После операции я иногда как испорченная пластинка: застреваю на одном месте, и никак мысль не стронется. Инерция какая-то своеобразная, не зависящая от массы. А есть и другой вид этой же инерции: читаешь какую-нибудь книгу, бог знает о чем, но мысль разгоняет. И вдруг... раз — принял эстафету, оттолкнувшись от чьей-то мысли, заработала своя и родила другую. И пошли мысли набирать скорость. Наверное, все-таки зависит это от массы, только от какой-то другой, еще не учи-

тывающейся... И чего это я? Вроде бы и на операции не очень устал?

— Но позвольте, товарищ Суворин, она мне сама рассказывала, что ей предлагали оперироваться. А вы, посоветовавшись, решили воздержаться. Так?

— Мало ли чего мы решили. А что мы понимаем? На то и врачи, чтоб уговорили. Надо было тогда и делать.

А по существу-то он прав. Конечно, надо было уговорить. Пойди-ка уговори. Или как-нибудь решить консультативно и сделать. Нет, так нельзя. Получается тот же суд, где консультативно решается, вернее, выбирается, мера пресечения. Впрочем, если экстренная операция необходима, тогда, наверно, можно. Нет, в принципе он, безусловно, прав, но упрек этот можно отнести не только к врачам, а, по-видимому, ко всем людям. Надо что-то в нас переделать, в самой глубине. У всех. В своей области я кое-что знаю и рассуждаю разумно. А где-нибудь еще, в других вопросах, где я невежда, веду себя, наверное, как он. Впрочем, с часовщиками я ведь не разговариваю так, как с врачами говорят: все понимая...

— Ну хорошо. В конце концов это не важно. Важно, что пятнадцать лет она жила дома с язвой, и раз мы не можем эту язву вылечить, значит, она опять поедет домой. А на дом будет ходить сестра и делать перевязки. К тому же и доктор, который ходит на вызовы, тоже работает у нас в больнице. Она в курсе дела, если что — можете вызвать ее.

Я имею в виду Лидию Сергеевну. С ее-то характером! Она ему устроит желтую жизнь. А вообще скандал может быть.

— Так что вот, доктор. Домой я ее не возьму, пока язву не вылечите. Такого не бывает, чтоб простую маленькую рану на ноге нельзя было заживить.

— Знаете ли, милый друг, в конце концов, спрашивать вас мы не будем. Если мы находим, что ей в больнице делать нечего, — все. В советах ваших мы не нуждаемся. В крайнем случае вы можете попросить нас задержать ее на несколько дней.

— Ничего я просить у вас не буду. Нет такого закона, чтоб насильно выписывать.

— Да вы подумайте сами. Мы ее напрасно не будем держать здесь. Мест у нас лишних нет. Видите, больные даже в коридоре лежат. Она занимает кровать, а человек, которому мы могли бы помочь, ходит и ждет, когда место освободится.

— Это ваша забота — как помочь человеку. А я ее домой не возьму.

— Ну так вот, слушайте. Я с вами говорил как мог. Больше мне сказать вам нечего. Мы ее выписываем в воскресенье. Приготовьтесь.

— Нечего мне готовиться. Мы с вами поговорим в другом месте. Это вам так не пройдет. Помощники наши, спасители! Я за ней не приеду.

— Ничего. Мы вызовем машину и отвезем ее. Из-за ваших капризов мы не намерены напрасно койку занимать.

— Капризов! Поостереглись бы, молодой человек! Я вам в отцы гожусь.

Где-то в глубине мне действительно стало несколько стыдно, но я уже вошел в штопор.

— Я бы не хотел иметь такого отца. Короче говоря, я не намерен с вами больше разговаривать. Мы в воскресенье ее привозим домой. — Повернулся и пошел. Чувствую, что становлюсь похож на кухонного горлодера.

А старик мне вдогонку:

— Но меня дома не будет! И дверь будет заперта!

Мне очень хотелось обернуться и что-нибудь ответить, но... На этот раз я сдержался. Да, скандал будет. Ну и пусть жалуются. Ничего. Здесь мы абсолютно правы. Но историю болезни надо будет еще раз проверить.

Рядом стояла санитарка и слушала. Сейчас она догнала меня и зашептала на ухо. Не люблю этот заговорщический шепот. Всегда так жарко в ухе. А со стороны смотреть, и вовсе противно. Так вот шепчет:

— А я их знаю. Они рядом живут. У него, говорят, еще семья есть. Он дома часто не ночует.

Ну старик! Ну мастер!

— Да бог с ним. Это его личное дело. Ну какое это имеет значение?

Черт его дери! Никак с мыслями не соберусь. Вот паразит какой! Бывают же такие старики — и законы они знают, и как кого лечить они знают. Как их называют-то? Ах да — «скверные старики»: конечно, целый день в сквере сидят, все узнают, все обсудят...

Писать истории болезни я не сумел — думать надо, а в мозгу червь. А если бы этот разговор перед операцией, а не после?.. Пойду-ка лучше в послеоперационное отделение.

Лидина больная (уже Лидина) порозовела. Не так чтобы очень, но совсем другое дело теперь. Лида чего-то суетится. Мерит давление.

— Хорошее?

— Нормально. Что-то слишком уж все хорошо. Меня пугает даже.

— Зря. По-моему, все в порядке. Был спазм и прошел. Чего суетишься?

— Сейчас эту ампулу перелью и кончу.

— У тебя еще много работы?

— Еще перевязать одну, и все. Останется только записать истории.

— Я тебя прошу, извинись ты перед этим стариком. Что ты на него орала?

— Я же правду говорила.

— Не говорила, а орала. А правда тем и хороша, что ее можно не орать. Нельзя же так. Делаешь все хорошо. Чего же тебе еще надо? Он же увидел, как надо. А заорала и все испортила.

— Отвяжитесь вы все от меня с вашими советами! Не мешайте. Видите, я занята.

Ну ее к черту. Пойду писать. Не хватает только еще и с ней поругаться.

В коридоре стоит больная, разговаривает с заведующим.

— Большое вам спасибо за все. Я вам в книгу там все написала. И вам, и доктору своему...

Ну и так далее. Она ушла, а зав мне:

— Вот все они говорят: «Я вам в книгу написала». Ну и что?! Книга вон заполнена благодарностями. Пусть их там будет тысяча, сто тысяч — стоит появиться одной жалобе, и все насмарку. Впрочем, даже не насмарку — ведь эти благодарности никто не читает, выводов не делают. Только предполагается, чтобы под каждой благодарностью я писал: «Читал». И расписывался. А вот жалобу все будут читать, разбирать, шуметь... В детстве мы в футбол играли во дворах, «Три корнера — пенальти». Сделали бы так же: три благодарности — и хоть что-нибудь, отгул, скажем...

Вошли к нему в кабинет. На столе цветы. Значит, не только в книгу написала.

— Сказать тебе по чести — не люблю я цветы. Какой-то узаконенный шаблон. Рождение — цветы, свадьба — цветы, болезнь — цветы, выздоровление — цветы, встреча — цветы, наконец, смерть — цветы. На большее фантазии не хватает, а? И все-таки приятно — принесла букет... А?

В ординаторской накурено. Все сидят за столом — пишут истории болезни.

Пожалуй, я сейчас закурю трубку. Люблю трубку. Вкусно. И всем вокруг приятно: «Золотое руно» пахнет хорошо. Это табак для альтруистов: всем хорошо, а у того, кто курит, язык щиплет. И все равно вкусно. Только трубка — это труд. На работе ее курить сложно. Оставляю до дома.

«Состояние больной удовлетворительное. Боли стали несколько меньше. Пульс — восемьдесят шесть в минуту. Язва на правой нижней конечности...»

Почему у нас принято писать «конечности»? Верхняя, нижняя... Есть же простые человеческие слова — рука, но-

га. Что — «конечность» научнее, что ли? По-моему, в таких названиях какое-то скотство: делят нормального человека, живой организм, как мясо в магазине. Нет! Я — за руки, за ноги.

«...Язва на правой нижней конечности не имеет тенденции к заживлению...»

А сейчас про руку писать. Да-а! Положеньице с ней.

— Как думаете, Дубова будет жаловаться?

— Конечно. Рука-то плохо будет работать.

— Но ведь ей спасли руку. Ведь руки могло и не быть вовсе.

— Дурак ты, Боря, что ли? Рука же испорчена. Она у нее есть, а не работает. Ей же не важно, что рука еще может разработаться.

— Что значит — не работает? Что-то ею можно делать.

— Ты что, первый день работаешь? Это ведь наши медицинские тонкости. А ей важно — рука раньше хватала, а теперь поддерживает.

— Но она же есть! — Я спорю вообще-то с самим собой.

— А вот если бы не было, она бы и не жаловалась: не на что было бы.

А жалобу будут серьезные люди разбирать. С серьезными лицами. Изучать историю болезни будут. И что-нибудь обязательно найдут, какую-нибудь мелкую ошибку. А ошибки ведь не прощают — безделье скорей прощают.

До чего же это глупо: «Не было бы руки — не было бы и жалобы». Идиотизм! Жалобы нас определенно портят.

А все-таки приятно, что руку удалось спасти. Хоть и не я спас, а все-таки приятно. Я не выписываю ее. Мне даже издали приятно смотреть на эту руку. И хвастаться хочется. И уже кажется, что костюм мне нужен не иначе как пятого роста и ботинки сорок пятого размера.

Пришел зав. Он любит у нас торчать в ординаторской, лю-

бит болтать с нами. Только ему ведь не надо писать истории болезни.

На этот раз пришел к нам с каким-то сообщением. Сияет.

— Главная передала мне сейчас инструкцию горздрава. Видали: «Инструкция по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения». Блеск название! А? Ну, тут вначале все обычно. Сами прочтете. А вот: «Если больной сопротивляется осмотру, следует обратить внимание на то, с одинаковой ли силой он обороняется правыми и левыми конечностями...» А? Вот так. Почти по евангелию. Только, я бы сказал, в современном варианте. Так сказать, все должно быть направлено на пополнение информации. Если тебя ударили по правой щеке, подставь левую — ты узнаешь, какая рука бьет сильнее. Я тоже за культуру, за максимальные познания каждого, за максимальную информацию — но не собственной же, черт возьми, мордой познавать, в столь прямом смысле. Как бы мы не захлебнулись в потоке этой информации.

— Не захлебнемся. Радость познания в удивлении, а не в запоминании. А тут этой радости будет полно! Вот уж удивимся! Вот уж не zapomним! Удивляемся уже — а через две минуты все это забудем.

Но он уже не слушал, увлекшись своими мыслями, стал ехидничать. Свернул на излюбленную тему — стал ругать главного врача.

— Наша сейчас очень занята. Устраивает похороны умершему санитару. Ну и фрукт она все же! Ругала, поносила его. Он тоже, кажется, в долгу не оставался. А теперь... Любит она — да, впрочем, не только она — мертвых жалеть. Как бы к тебе ни относились при жизни, стóит только умереть — все сразу жалеют, охают, похороны устраивают, максимальные удобства создают. Вот видали, она машины раздобыла. Даже у мужа на работе. Лично ездила на кладбище — проверяла глубину могилы. Ханжа проклятая!

— Слушай, зав, — шепнул я ему (мы его так звали и в глаза), — во-первых, не философствуй и не обобщай, а во-

вторых, зря ты ее тут поносишь при всех. Расскажут — начнется игра. Она ведь тебя тоже не шибко любит. Зачем керосин подливать...

— А-а! Надоело мне все это. Живых она мордует как может, а тут вдруг все умилились: «Какой она все-таки добрый человек...»

Зав ушел. Мне оставалось дописать чуть-чуть. Точка. Три часа уже. Пойду домой, пожалуй.

У моей оперированной все в порядке. Лида тоже зашла посмотреть свою докторшу.

— Ну, как дела? — спрашивает. Та отвечает хриплым голосом. Конечно, голосовые связки травмированы сегодняшней эскападой.

Выходим вместе.

— Тебе куда, Лида?

— В поликлинику сегодня. Прием.

— Ну, а я домой. У меня долгов полно. Пришли «Хирургия», «Вестник хирургии» и «Клиническая хирургия». Все три. Пойду читать.

Мы вышли из больницы. Она направо, я налево.

Пыль. Жара. Духота. Ноги едва переставляю. Думать лень. Но надо. А зачем? Вот поесть надо. Жарко. Неохота. Может, не есть сейчас? Ближе к вечеру. Народ идет толпой. Все идут... Не идут — ноги переставляют. Нечем дышать. Красивая женщина идет. Немножко сутула. А ноги какие! Лет тридцать, наверное. Жаль, я потерял детскую способность знакомиться на улице. Она идет прямо на меня. И улыбается. Может, она не потеряла детской способности? Впрочем, я не объект. Интересно, чему она улыбается?

— Здравствуй, юноша!

Это что — мне? Приятное обращение. А ведь вокруг никого.

— Ты что головой крутишь? Не узнаешь?

Улыбка стала чуть горькой, но не потеряла ослепительного блеска уверенности. Нет — маска это.

— Нина! Бог мой! Конечно, не узнал. Поди догадайся, что ты можешь оказаться в этом городе. Да еще в очках темных.

Я ее не видел несколько лет. Как уехал.

Горечь вокруг рта усилилась. Нет, горечи нет, показалось. Или есть? Черт его знает. Какая разница: есть — нет,

— Ну, раз не узнаешь, значит, есть на то причины. — Какой хороший смех! Я все вспомнил. — Где уж мне теперь вступать в неравное единоборство с молодежью! (Смех.) Но все-таки попробую. (Смех.) Надену туфли на самых высоких каблуках, расправлю свою сутулость... Как я рада тебя увидеть, Борис! Я здесь в командировке.

— Нина, ты совсем не изменилась.

— Светский ты человек, Боренька.

— Правда. Я случайно тебя не узнал.

— Нет ничего случайного.

— О, я забыл, ты же философ! Но сама подумай. В этом городе тебя быть не должно. Жара такая, что и мыслей нет никаких, тем более воспоминаний. А тут еще и очки темные.

— Ну ладно объяснять. Мне все равно, узнал ты или не узнал. Я сказала ведь — вступаю в неравное единоборство с твоими молодыми девочками. Где они?

— Ты надолго?

— Раз я встретила тебя, стало быть, все зависит от исхода моей борьбы. А?

— Хватит звонить.

Звон не может сам прекратиться. Он затухает постепенно. Жара не чувствуется. Я шагаю увереннее. А почему? Женщина шутя сказала, что хочет за меня бороться!

— Пойдем пообедаем. Я еще сегодня ничего не ел. — Почему-то и есть сразу захотелось.

— Это мысль глубокая, хотя бы уже тем, что верная.

— Здорово все-таки сказывается твое философское образование.

— А ты думаешь! — Она немножко согнулась, как бы

перегнулась через собственную руку. Эдакий барьер сделала из нее.

— Ты чего?

— Вот в том-то и дело, что больно уж неравное единоборство: они молодые и здоровые, а я старая и больная.

Вдруг с детской, вынырнувшей вместе с воспоминаниями жестокостью я спрашиваю:

— С чего это так в тебе гуляет комплекс собственной старости? Бросил, что ли, тебя какой-нибудь знойный мужик?

— Не так конкретно, юноша. «Бросил!» «Старость». Просто какой-то, неясно какой, но все же комплекс. А уж в результате чего — не все ли равно.

Эта вот прямолинейная черствость моя создала некоторую недолгую неловкость.

— Скажи мне, Борь, что такое дуоденостаз?

— Это...

Пожалуй, надо сначала узнать, у кого он. Если у нее, можно и сказать. А вдруг у кого-нибудь, кто ей еще ближе? Хм...

— ...А это у кого?

— У меня! У меня... Все время болит.

— Да не так, чтоб уж очень приятно. Довольно больно, и лечить не так уж просто. В конце концов операция. Да и то не всегда помогает: боли могут остаться.

— Ты понимаешь, операцию мне уже сделали. Прошло полгода. А сейчас снова появились боли.

— А что тебе сделали?

— Э-э... Дай бог памяти: гастро... какой-то анастомоз.

— И все?

— Понимаешь, как мне рассказывали, они сначала решили сделать резекцию желудка...

Ну и надо было, наверное.

— ...Но во время операции пришел профессор и говорит: «Пожалуйста, совсем еще молодая женщина, а вы ей здоровый желудок отрежете». Пожалели. Сделали вот этот самый анастомоз.

— И теперь снова боли?

— И точно такие же, как были.

Мы уже пришли в ресторан.

— Ты как — соблюдаешь какую-нибудь диету?

— Нет. А что, надо?

— А-а! По-моему, нет. Ешь все.

Ну мы и заказали без учета наших болезней и комплексов.

— Ну расскажи, Нин, как живешь.

— Как все. Ничего особенного. Работаю. Ем, сплю, читаю.

Если они ей не отрезали желудок, то сначала, наверно, все шло в анастомоз, а потом опять пошло по старому пути.

— Как мы с тобой разбежались, Борис, в разные стороны. Все-таки это хамство: не видеться, ничего не знать друг о друге столько времени. А? Смотри-ка, неплохой цвет у этого платья, — обратила она мое внимание на какую-то молоденькую, хорошенькую девочку. — А что ты читаешь? Фолкнера прочел уже? Я только что кончила.

— Прочел. Мне понравилось.

— Это очень хорошо. Такие вещи обязаны тебе нравиться. Это замечательно.

— Да я не даю оценки. Хорошо — плохо. Мне нравится. Я за такую формулировку.

— Не слишком ли ты осторожен? А за этим иногда неприкрытая категоричность, насколько я тебя помню.

Станный разговор. Столько лет не виделись, а тут вдруг Фолкнер. Как будто мы ни с кем не учились. А где ребята все? Надо бы спросить. Нет для нее ни Митьки, ни Ленки, ни Натальи. Фолкнер! А я? Тоже хорошо!

А этот анастомоз мог и вообще зарастить. Или просто не функционирует.

— Я с таким удовольствием вспоминаю наш десятый класс! Ты помнишь, я, как мальчишка, всегда фанфаронила. Ты фанфаронил — и я фанфаронила. А сейчас почему-то из меня это выхлестнулось. Зачем? Обидно. Вот с мужем недавно разошлась... Ого, на каких каблучках ходят девочки в про-

винции! — Мимо нас прошла девочка действительно на очень высоких каблуках и с очень красивыми ногами. — Пожалуй, мне не справиться с этой молодежью. А? Во всяком случае, дорогой доктор, молодежь заставляет нас с тобой вибрировать! — Она засмеялась. Смеялось лицо. Смеялся голос. Смеялись глаза. Все смеялось над чем-то своим. Смеялся и я — ни над чем.

Я хочу попасть в тон.

— Кого же из нас эта девочка заставила вибрировать? Сейчас ты одна живешь? — Вспомнился скованный разговор десятиклассников. Нет, все-таки напрасно они ей не отрезали желудок. Зашили бы ход в кишку. Тогда бы и анастомоз работал, наверно. Пожалели, понятно. Она, что ни говори, молодая ведь, красивая. Пожалеешь! Почему, собственно, «что ни говори»?

— Ты где живешь здесь? — Я, кажется, пошел по опасному пути. Кажется, вибрировать меня заставляет вовсе не молодежь. Ох, парень! Воспоминания опасны. А не права ли была старуха Изергиль, не желая встречаться с прошлым? Пожалуй, не права — не туда рулила старуха. «Рулить» — это Нинино любимое слово было. Я помню. А куда это рулю я?

— Дорогой мой, лечить ты меня будешь? Я на тебя крепко рассчитываю. Понял? Где я живу здесь? Через три часа и... э-э... тридцать три минуты отходит мой поезд. Милый, моя двухнедельная командировка кончилась, и... Посмотри, пожалуйста, на эту прическу. Не стоит ли мне завести такую?

Может, и к лучшему, что она уезжает. Глупо создавать какие-то рациональные построения: к лучшему, к худшему — ничего мы не знаем... Уезжает. А лечить я ее буду письмами, что ли? Все-таки Гиппократ был прав! Больных жалеть нельзя — жалость глаза туманит. Жалость к добру не приводит, по крайней мере в медицине. Не пожалели бы ее тогда — может, и лечить не надо было б сейчас, и все комплексы разлетелись бы. Все комплексы разлететься не могут. Эти-то девчонки все равно моложе.

— Разреши мне твое молчание расценить как скорбь и сожаление о потере неожиданно обретенного?

— Да, Нина, мне очень жаль.

Она что-то говорила, но я не слышал, что она говорила.

Жалость — это совсем не профессионально для врача. Недавно я читал статью какого-то физиолога. Он писал, что накопление профессиональных навыков уменьшает и силу, и количество эмоций. Правильно. Вряд ли верхолаз боится высоты. Вряд ли хирург — нет, врач — должен жалеть своих больных. Когда можешь помочь знанием и умением — помогаешь, а не жалеешь. Не можешь — «медицина бессильна», запущенный рак, например, — вот тогда можешь и пожалеть, тогда, собственно, и жалеешь.

— ...Я тебе говорю или нет? Может, объяснишь свое молчание вовсе не сожалениями о потере, а, наоборот, тихой радостью по поводу моего столь быстрого отъезда? А?

— Ну что ты ехидничаешь, Нина! — Я перешел на школьный лексикон: «ехидничаешь» — любимый термин был при общении с нашими девочками. — Дай подумать. Ведь это так неожиданно все.

Она стала смеяться. И совсем не долго смеялась. И не сильно смеялась, а досмеялась до слез. Сразу же.

— Юноша! Слишком много эмоций вы себе позволяете. Думать! А хорошо ли это? Давай выпьем немножко коньячку. К кофе. Нет возражений? Впрочем, подсчитай свои деньги, ибо я уезжаю на последнем дыхании, вернее, на последнем выдохе своих золотых запасов.

— Есть у меня сегодня деньги.

Она опять перегнулась через руку:

— Понимаешь, не то чтобы стало мне больнее сейчас, просто появилась потребность перегнуться, переломиться через что-то — становится вроде легче, хоть и ненадолго.

В ресторан вошла Лидия Сергеевна, Лида. Я еще не приспособился ни к ней, ни к ее имени, ни к ее манерам, ни к ее характеру. Для доктора она слишком несолидно ведет себя в

нашем городке. По понятиям нашего города, надо соблюдать добропорядочность, канонизированную веками. Эта вековая добропорядочность густо замешена правилами, нормами, законами, обрядами.

Лида и в ресторан не вошла, а влетела, как в операционную. Кажется, будто растрепана. А на самом деле нет. Прическа — короткая, модная. Как после болезни. Волосы темные, с рыжеватым отливом. Волосок к волоску, вовсе она не растрепана.

Не след ей все ж так прижиматься к спутнику. А почему, собственно, не след? Что она — дематериализовалась, что ли? Близость философа действует на меня.

— Ну, что ты смотришь на эту девочку? Посмотри на меня, на столичную птицу, провинциал. Ты меня лечить будешь? Мне ведь бывает так плохо! Давай договоримся — либо я к тебе, либо ты ко мне, но лечить будешь ты. Эпоха профессоров для меня кончилась.

— Я, наверное, скоро приеду в Москву.

Такие болезни часто бывают у невропатов. Она, конечно, типичный невропат. А кто его знает? Может, как раз сначала болезнь, а уж после невропат.

— Ты по-прежнему живешь на Арбате?

— Угу, адрес прежний. Скажи честно. Не бойся за честь мундира. Меня неправильно лечили? Да? Насколько я поняла в том, что прочитала, — надо было желудок отрезать. Да?

— Да всякие есть методы. Тебе, наверное, лучше бы отрезать. Поди угадай. Жалко все-таки. Молодая.

— Спасибо, дорогой, что пожалели. Меня многие жалеют. Но я предпочитаю, чтоб не болело. Нет, конечно, я понимаю. Они хотели как лучше. Я на них не в претензии, но жалко мне себя. Так по всем классическим образцам надо бы написать на них жалобу. А? Плевать мне на их эмоции. Меня оперировали. Мне должно стать легче. А мне опять больно. И не по непонятным причинам, а просто не сделали всего, что сейчас уже делают. Так?

Я посмотрел на нее с удивлением:

— Какая жалоба, Нина? Ты с ума сошла? Они же старались сделать лучшим образом! Медицина — не математика ведь.

— Что ты мне объясняешь? Я и не собираюсь жаловаться. Как-никак, а высшее образование... —

— Наиболее убедительный аргумент — это, конечно, высшее образование. При всей моей любви к интеллигенции довольно часто я вижу, как звериная морда вылезает из-под красивых, вполне достойных рассуждений. Из-под всяческого образования... Хотя в общем я, Нина, за интеллигенцию. Кто только не ругал ее! А я согласен с молодым Горьким. Он когда-то писал, что интеллигенция — это ломовая лошадь истории.

— Знаешь, милый... Пошел-ка ты вон со своими сентенциями. Мне и на работе философии хватает.

— А в свободное время на профессиональные темы ты не говоришь?

— Просто мне это порядком надоело.

— Дорогая, какой великолепный десятый класс идет у нас через два часа после начала встречи! Будто и не было стольких лет... Ну, скажем, разлуки.

— Думаешь, мы сейчас поссоримся?

— Вероятно, нет. Но хамство в душе затаить я уже могу. Уже есть за что.

— Я понимаю тебе скучно просто болтать. Хочется поговорить об умных вещах. Но уволь! Не надо, чтобы я чувствовала себя сейчас на работе!

— Ладно. Просто меня злит квазининтеллигентность, которым, например, жалобы, кляузы — стихия родная. Поэтому я так и взъярился. От одного твоего полушуточного упоминания об этом.

— Ты скучный, ограниченный идиот. Неужели ты к этому серьезно отнесся? Какой вздор! — И с уже ставшей мне такой знакомой, полуиздевательской иронией, непонятно к кому обращенной: — Хорошо ли это, юноша?

— Мысль-то возникла. Вы все ведь — и интеллигенты и не интеллигенты — врачей выделяете в какую-то отдельную касту. Вы нас любите, вы нас ненавидите, вы нас уважаете, вы над нами посмеиваетесь, вы перед нами несколько склоняетесь, вы нам предписываете особую этику врачебную, отличную, по-видимому, от вашей, вы нам не устаете напоминать, что мы вас обслуживаем и должны это делать как можно лучше. Вы уже не замечаете ничего. Ты вот со мной говорила о болезнях. А ведь на темы, с которыми ты профессионально связана, говорить не хочешь. Если у тебя болит, естественно, что ты говоришь мне об этом. Я бы даже обиделся, если б ты не сказала. Естественно и то, что тебе неохота сейчас рассуждать о проблемах интеллигенции, культуры и прочих вопросах, касающихся твоей работы. Но у тебя ведь не мелькнула мысль уравнивать нас в этом.

Она смотрела на меня с некоторым удивлением. Я думаю! Я просто сошел с рельсов.

Лицо у нее удлиненное. Веки чуть подсинены. Красивый рот. Я не понимаю — это от бога или от косметики? Нос узкий...

Что за дурацкий спор! С одной стороны, никак не пробиться к ней сквозь штампы ее игривой речи. С другой — неудержимо тянет к ней что-то явно интеллектуальное. Узкий нос, глаза, волосы. Да, наверное, не одного меня тянет. Как на нее смотрят вокруг-то! А может, это мое самодовольство? Все смотрят так — меня и тянет. Вряд ли! Буду лучше смотреть на Лиду. Ее отсюда видно. А вот цвет глаз не различить. Но видно, что глаза спрашивающие. На кого ни посмотрит — всех спрашивает.

Вошел молодой парнишка с девушкой. В руках у него транзистор. Транзистор что-то громко орал. То ли это музыка была, то ли слова какие-то — я воспринимал только шум. Что за хамство — ходить по городу с включенными на полную громкость приемниками! Этих культуртрегеров не интересует, как реагируют окружающие, главное — шуметь! Зачем? Я бы

запретил шуметь на улице и в общественных местах этими штуками.

— Может, ты и прав, мой хороший, ты извини меня. Я действительно...

Я перебил:

— Знаю наперед все эти разговоры. Завершаются они такой фразой: «Я больше не буду говорить тебе о своих болезнях». Произносить это надо обиженным тоном. Этим ты меня не удивишь. Говори о своих болезнях. Знаешь, как я хочу тебя вылечить? Знаешь, как я хочу, чтобы ты не уезжала? Оставайся. Пойдем на вокзал. Отдай билет.

Смех. Опять смех. Какая великолепная вещь — смех. Ему легко научиться. Он все скроет. Все замаскирует. Он дает время подумать. Дает возможность не сразу говорить. Смех может подогреть, может остудить. Меня он остудил. Тем более что за ним выступает следующая маска — юмор.

— Юноша! Уж не любима ли я? Уж не люблю ли я тебя? «В объятьях моих ты у сердца...» Не помню строки... Ну в общем, та-та, та-та-та, та-та-та. «Твое я родимое небо, моя ты родная звезда».

Проклятая привычка! Если надо на что-то решиться, если трудно, если надо подумать, если бог его знает что...

— Что ж, можно прикрыться и Гейне.

— Поздравляю тебя. Несмотря на твое негуманитарное образование, ты помнишь все-таки этого стихотворца.

— К тому ж я помню, что он твой любимый поэт. Это значительно облегчает задачу. Ладно, пойдем за твоими вещами. Скоро уже на вокзал.

А что, если ей попробовать принимать элениум? Она же вся на нервах. С этой болезнью надо прежде всего нервы успокоить. Можно, конечно, и совет дать: «Будь спокойна. Не нервничай. Старайся не волноваться. Относись ко всему философски». Мы, врачи, любим давать такие советы... Боюсь все-таки, что ее придется снова оперировать.

— Вещи мои уже на вокзале, в камере хранения. Я хоте-

ла сюда на машине приехать, но заробела. Теперь жалею. Триста километров — совсем ерунда. Пойдем потихоньку. Я так рада, что тебя увидела!..

Уходя, я посмотрел на Лиду. Она сидела в облаке дыма. Что-то странно она смотрела вслед нам. Странно она смотрела и на своего спутника. Странная девочка. Работает хорошо, но как она разговаривает с коллегами!

Нина так умеет брать под руку, что сразу вылетают всякие мысли. Так и хочется, чтоб держала и не отпускала. И сейчас так же взяла, и все мысли начисто отлетели. Что-то где-то кружило. Где-то облака. Где-то земля. Где-то Нина. Нет, она вот здесь. Она не где-то. Ни о чем не думаешь. И все! Как хорошо ни о чем не думать. Вот уедет, и опять буду думать. О чем? О дуоденостазе? Почему я должен ассоциировать ее с какой-то болезнью? А вдруг ее придется оперировать снова? Неужели она приедет ко мне оперироваться? Я не хочу. Да она и не приедет. Я начинаю придавать себе значение, какого не имею. Это как с диссертацией. Я отлично понимал, что это не новое, что это уже есть. Мое здесь столь мелко. И все-таки начинало чудиться: я действительно ученый, я сделал нечто значительное. Так и сейчас. Кто же в самом деле поедет ко мне сюда из Москвы? Благо еще к какому-нибудь маститому! А то ко мне. Разве что она, как философ и последователь великого гуманиста Эразма Роттердамского, захочет убедить меня — мол, ты человек, в тебя можно верить... Нет, я не хочу, чтобы ее оперировали в моем отделении. А что я хочу? Сам не знаю. Я не хочу, чтобы она уезжала. Может, я хочу, чтоб она осталась? Кто его знает! Но сегодня, безусловно, лучше бы осталась.

— Видишь, мой принц, как грустно наше расставание. Идем и молчим. Это так трогательно, так нежно. Мы купаемся в блаженстве, и наши мысли витают где-то в счастливых эмпиреях. Мы думаем о будущем, и оно улыбается нам. А? Пойдем быстрее, дорогой, вот что я тебе скажу. Ничего хорошего не будет от такого повествовательного хода.

Она стояла у дверей. Я стоял на перроне у поручня. Все классически, традиционно. Обряды вызывают цепную реакцию, и не удивительно, что я сказал: «Прощай, Нина».

Она подалась вперед, вытянула руку и закачала пальцем в стороны, как маятником метронома:

— Не выйдет, юноша. Это я насчет «прощай». Придется тебе полечить меня. И если не приедешь ко мне, то я все равно приеду. Машина у меня на ходу. Я вступила в неравное единоборство! И звони. — Она свесилась почти к самому моему уху. — Ну, шагай домой.

И пошла в вагон. Я тоже пошел. А поезд пошел в Москву. Хороший она малый. А?

Дома я не читал журналов. Я не читал книг. Я лег, не зажигая света.

Очень быстро передо мной стали мелькать какие-то картины. И я лишь успел положить сигарету в пепельницу.

Утром опять троллейбус. Опять те же улицы. Опять иду на работу. Надоело ходить одним путем. Пойду другой улицей. На стенах щиты: горреклама, горреклама. Зачем столько реклам? Театры приезжают откуда-то. Какие-то ансамбли, джазы. Горреклама. Странное название. А это что? «Только для женщин!» Хм. «Клуб машиностроителей. О женской красоте и гордости». Хм. «Только для женщин!» Почему бы мужчинам не послушать о женской красоте? А может, меня все-таки пустят?.. Странная болезнь — дуоденостаз. Зря, конечно, Нине желудок не отрезали. Придется, наверно, это сделать. «Шагай домой». Шагаю в больницу. Потом пошагаю на операцию. Нелепое настроение. Что я сегодня оперирую? Помогаю, кажется, на щитовидке. И грыжа послеоперационная.

Больница.

Из перевязочной несется ругань. Снова Лидочка разорется:

— Какого черта вы лезете в стерильный бикс руками?

Невежество! Есть инструменты. Ими надо пользоваться. Сидят тут как в берлоге. Книги бы читали. Разогнать вас надо.

Ну уж если быть точным, то про стерильные биксы в новейших книгах не прочтешь. Только в учебниках. Если бы Лидия Сергеевна следила за литературой, то скорее усомнилась бы в необходимости такой фетишизации стерильности. Да она не больно-то читает новые книги. Главное, всегда у нее готов рецепт — разогнать! Пришибеевщина!

Уже поздно что-нибудь сгладить. Увел.

— Ты что с ума сходишь? Неужели нельзя сформулировать все это более корректно?

— Какого черта я должна выбирать еще форму? Кто ж это в бикс руками лезет?

Сзади крик: «Не тебе учить меня. Я так всегда делала и делать буду».

Хм. «Пустое «вы» сердечным «ты» она, обмолвись, заменила».

— Ну, видали! Всегда делала и будет делать. Для них же главное — делать как всегда делали. Прогресс! Вперед к новым...

— Но понимаешь, так с людьми не разговаривают. Ты не научишь, а только вызовешь обратную активность. Помни третий закон Ньютона: всякое действие вызывает равное ему по силе противодействие.

— А идите вы со своими философствованиями!

— При чем тут философствования? Это не философствование!

— А чего это вы? Словно вас скипидаром полили.

— Да нет. Я так. Но учить людей надо осторожно, мягко. А ты кулаками. Силой еще никто никого ничему не выучил.

— Вот и учите мягко. А за это надо бить.

— Бить? Ты сначала себя изнутри исправь, а потом уж преобразуй. Ты же говоришь как типичный надсмотрщик. Преобразователь!

— Но я правду говорю.

— Правду тоже уметь сказать надо.

— В конце концов, я требую только то, что положено.

А что уж положено — будьте добры.

— Какая-то потребительская точка зрения.

— Ничего потребительского. Только то, что положено. Большого я с них не требую и сама меньше не даю. Меня не в чем упрекнуть.

— Эх, милая! Знаешь, какой-то умный человек сказал, что корректность — это готовность в известных случаях взять меньше, чем имеешь право, и дать больше, чем обязан. За точность не ручаюсь, а смысл такой.

— Ну, во-первых, вы сами сказали — «в известных случаях» и всего лишь «готовность». А во-вторых...

— Ну ладно.

...И разошлись по палатам.

Она-то еще штампов не приобрела. Кое-что уже вызубрила, но стена из штампов еще не достроена. Есть бреши для контактов.

Больная с опухолью груди сидит тихо. По щекам слезы текут.

— Что? Болит?

— Нет.

— Не может быть. Должно болеть еще.

— Болит. Но терпеть можно.

— Это понятно. Только тогда не надо сырость разводить. От сырости — плесень. У нас пенициллина и без того достаточно.

Чуть улыбнулась. Это у меня дежурная острота. Вообще таких острот надо бы, кажется, стесняться, но я их упорно повторяю. И не жалею. Действуют.

— Да нет. Я так. Сама не знаю чего. Впрочем, вы сами знаете чего.

— Да что вы! Должны радоваться. Все в порядке. Операция прошла хорошо. Сделана вовремя. Теперь можно спать

спокойно. Хорошо, что успели вовремя. Нет никаких оснований для слез.

Боже, что я порю! «Нет никаких оснований». Грудь-то отрезали. Какое феерическое словоблудие!

— Да, конечно, — понуро согласилась она и отвернулась. Слезы продолжали течь.

— Ну, а как повязка? Не промокла?

— Немного.

— А болит?

— Нет.

Спрашиваю я то же самое.

— Смотрите. Повязка лежит хорошо. Не болит. Что ж вы плачете? Совсем напрасно.

— Извините, пожалуйста.

— Да при чем тут извинения.

— Я так чего-то. Я понимаю. Вы так старались. Делали хорошо. Все сделано. А я плачу.

Оба мы говорим о разном, а думаем об одном. А потом уже кажется, что и думаем о разном. А потом уже кажется, что не понимаем друг друга и не поймем никогда.

— Все в порядке. Не болит. Повязка лежит хорошо.

Мне бы давно пора остановиться. Но я продолжаю молоть чепуху. Тоже ведь положеньице!

Надо обходы делать после операции. А то не больно-то хороший фон создается. Поменьше эмоций надо. А впереди еще «рука».

— Ну, как ваши дела? Ничего, разработается. Нужно терпение.

— Чем терпеть, лучше б сразу как следует делать.

— Что вы за глупости говорите? Что мы с вами говорим об этом ежедневно? Вы поймите. Руку вам спасли, и это главное. А вы недовольны.

— А как же мне не говорить об этом?! Я ж одна живу. Руками своими живу. А вы говорите — каждый день. Испортили руку.

И она плачет. Я оглянулся. И та тоже. Лежит и тихо плачет.

У меня всегда есть спасение — в окно взглянуть. А на улице все затянуло серыми облаками. И они тихо плачут. Ну, куда деться? Пойду в операционную, легче будет.

«Грыжа» со мной покочетничала. «Язва» хочет домой. Это легче. Странное дело — вот они плачут, а эта кочетничает, хочет быть красивой.

После обхода бегом в операционную. Быстрее, быстрее. А чего быстрее? Еще наверняка ничего не готово. Бегом. Бегом. Сестра еще не помылась.

— Здравсьте, девочки!

Радостный обмен приветствиями. Черт возьми, там плачут, здесь смеются. У Нины боли в животе, Лида орет на кого-нибудь. До чего ж хорошенькая эта сестричка. Тоже Нина.

— Ниночка, ты нам подаешь сегодня?

— Ага.

— Ну, ты моя хорошая! Я в восторге.

Обнимаю ее... По-отцовски, разумеется.

Она говорит:

— А если Юрка узнает, что тогда?

Вот черт, Юрка — муж. Я вовсе не это имел в виду. Ну ее, не буду обнимать. Нина — Юра, Нина — Юра. Дуоденостаз — Нина, Нина — поезд — Москва. Нина. А за окном все дождик. Теснятся облака вровень с потолком операционной. Нет, сегодня настроение не для операции. И лучше бы не оперировать. Да и руки не ходят. Это сейчас — пока моюсь. А что же будет в деле? Хм. Вот, говорят, летчики могут заявить, что они не в форме, и все — не летят. Если не война, конечно. Интересно — правда ли это? А у нас всегда война: всегда кровь. Но, вообще-то, и у нас надо ввести такое правило. Впрочем, когда во время операции какое-нибудь осложнение, так всякие настроения сразу отлетают.

Но почему все-таки, если летчик не в форме, он может не лететь, а я должен оперировать в любом состоянии? И там

и там речь идет о жизни и смерти человека. Впрочем, если я скажу, что не могу сегодня оперировать, мне, может, и пойдут навстречу. Но как на меня смотреть будут? Быстро приклеят этикетку. И правильно приклеят. Да нет, вздор, конечно. Еще от операции, ладно, можно отказаться; но отказаться ассистировать, помогать — это уж совсем некорректно. А в смысле настроения разницы никакой.

Я кончил мыть руки и перешел к следующей части предоперационного ритуала. Наконец, больная на столе. Мы стоим по бокам. Шея перед нами. Йод. Простыни. Новокаин. Последние переговоры. Оперирует молодой хирург. Люблю ассистировать молодым. У них еще нет привычек. Нет традиционных манер.

— Когда я вам скажу «а» — вы мне громко отвечайте «а». Хорошо? — говорит он больной традиционную для начала этой операции фразу.

Операция — в непосредственной близости от нервов голосовых связок. Чтобы их не повредить, все время приходится проверять голос. Но я не люблю так спрашивать — «а» да «а». Я спрашиваю, как зовут, фамилию, еще какую-нибудь глупость. Но и это звучит нелепо. Уже, так сказать, шею режу — а тут вдруг фамилию решил спросить. Смешно.

Шея выгнута валиком, подложенным под плечи. Увеличенная щитовидная железа вздымается ровным холмиком. Вот мы его сейчас и среем — этот курганчик.

Разрез на шее очень кровоточит всегда. Целые килограммы зажимов навешиваем — останавливаем кровотечение. А потом нитки, нитки.

— Теперь — у самых нервов.

— Ишь ты, зуб какой. Вокруг трахей идет.

— Да. А!

— А, — с готовностью отвечает из-под простыни больная.

— А!

— А.

Началось аканье.

Больная что-то говорит. Ага, спрашивает, можно ли глотнуть.

Ишь как увлекся: не слышит.

— Спрашивает тебя.

— А?

— А.

— Что «а»?

— Вы сказали «а».

— Так вы что-то спросили. Я не расслышал, вот и сказал: «а»?

Вот и договорились!

— Ну вас, с вашим аканьем! Глупость — она и есть глупость, — желчно вмешался я. — Что вы хотели? — Это я к больной. — Повторите.

— Глотнуть можно?

— А-а. Сейчас глотнете. Одну минуточку. Минуточку. Потерпи, родная. Так. Теперь глотни.

Все навешанные на железу инструменты дернулись к подбородку и вернулись на место. Мне всегда бывает страшно глядеть на эти глотания: а вдруг оторвется зажим — вот кровотечение-то будет!

Ну, можно и зашивать.

— Как будешь? С косметикой или нет?

— Не знаю. С косметикой дольше. — И к больной: — Вам как? Подольше и покрасивее или побыстрее?

— Ну что ты спрашиваешь? Сейчас она тебе скажет: лишь бы быстрее. А завтра начнется трагедия. Нет уж, давай как для Лувра.

Я всегда женщинам делаю с косметикой. В любом возрасте. Все-таки шея. На виду. А женщина — всегда женщина. Собственно, а при чем тут это? А если бы мне делали? Я бы тоже просил, чтоб незаметно было.

Наконец — конец.

Если сигарету держать зажимом, то можно покурить и не испачкавшись. Есть такие традиционные закуривания. В ка-

ком-нибудь перерыве, например. Вообще я курю реже, чем каждый час. Но если лекция — в каждом перерыве, каждые пятьдесят минут. Из кино выходишь — тоже почему-то обязательно закуливаешь. Автоматы. И после операции обязательно закуливаешь. Вот стою курю.

Вторая операция прошла быстро, гладко.

А после операции я пошел к Лиде. Она против обыкновения ни с кем не ругалась.

— Лидия Сергеевна! Салют. У вас здесь тихо. Это столь же неожиданно, сколь и приятно.

Зря это я сказал.

— Посмотрите, Борис, больную мою. Зав говорит — надо оперировать, а по-моему, лучше вскрыть живот.

— А с чем больная?

— Привезли с аппендицитом. Зав говорит — почечная колика. Там неясно. Но ведь лучше сделать операцию напрасно, чем пропустить и опоздать с ней. А?

— Так-то оно так, но только в том случае, если действительно сомневаешься. А так можно знаешь сколько лишнего нарезать.

Ворвалась сестра из приемного.

— Быстро! К нам! Плохо... — убежала, не договорив.

Я, старый (ну, не старый, но, безусловно, лысеющий), и молодая Лида бежим по коридору.

Надо делать сирену. Сразу чтоб вызывать по тревоге. Один гудок — приемный, два — операционная. И вся больница в боевой готовности. Как это называется? Готовность номер один, кажется. Бежать-то неудобно как-то по больнице. Вот от спешки-то и умирают раньше времени. Наверное, возьмут разгон, наберут инерции, а потом и остановиться не могут. Так, разогнавшись, и попадают неожиданно за кадр. А вдруг оживать надо? А ну, наддай! Лида рядом. Это хорошо, когда какая-нибудь женщина рядом. И хорошо, когда она красивая. Ноги у нее длинные и крепкие. Такими ногами только и бегать!

И вдруг я ей на ходу:

— Слушай, не часто ли ты меняешь своих сотрапезников?

— А вам что?..

Действительно, а мне что?

— Впрочем, и вы были не с мамой.

— Я старый. Мне можно. Уже не страшно.

Ну и пошляк! Что я несу?!

— Больно вы много бравируете своей старостью. Плохо кончится.

Права, наверное. А вдруг оживать сейчас? Старый, старый, а добежал-то быстро и не устал. Старый. Пора кончать действительно со своей старостью.

Леша уже здесь. И уже делает массаж.

— Инфаркт, — со вздохами и всхлипами от усилий говорит он. — Только что... Привезли... почти... при мне... я сразу... наверно... надо открытый делать. За набором... уже пошли.

Девочки из операционной уже бегут с набором. В дверях показался аппарат. Лида схватила трубку и начала интубировать. Опять ей интубировать.

— Сделаешь? — спрашиваю я.

— Да. Уже...

Присоединяем кислород.

— Давления нет?

— Нет.

— Леша, нож?

— Давай. Что подаешь пинцетом?! Так. Быстрей!

Это как раз тот случай, когда и стерильность не соблюдаешь, и в стерильный бикс руками лезешь.

Раз! Раскрыл грудную клетку. Как книгу. Ну и руки у Лешки! Схватил сердце. Массирует. Прибежали зав и терапевты.

— Закройте двери приемного и позвоните на «Скорую», чтобы временно нам не возили.

Зав молодец. Это и есть заведующий. А я только мечусь. Тому помогаю. Другому.

— Обнажай артерию! — Это Леша мне.

И я при деле.

Идет кровь.

— Кажется, сокращается! — Это опять мне.

И тут же терапевтам:

— Ну, что стоите! Тащите электрокардиограф!

Вот и терапевты при деле.

За два часа работы перелили полтора литра крови, израсходовали уйму самых дефицитных лекарств, сбили весь график дежурств. Но... сердце работает!

Грудная клетка зашита.

Больной жив. Электрокардиограмма подтверждает это. Теперь за документацию.

Леша:

— А кто он такой, знаете? Фамилия как?

— Не знаем. Его привезли как неизвестного.

Леша:

— А ведь он уже может отвечать? Смотри, глазами хлопает. Рефлексы есть. Мозг уцелел. Глаза открывает! Сознание сохранено.

Я:

— Как зовут вас?

— Василий.

Леша:

— Можно, наверное, в отделение везти. Фиг я его отдам терапевтам.

К терапевтам:

— А что кардиограмма?

— Да что! Типичная картина умирающего сердца.

Леша со злостью, вернее, с обидой:

— А ну покажи! Это умирающее сердце?! Это оживающее сердце! Разницу знаете? Конечно, на кардиограмме не увидите. Посмотрите на него.

Терапевтам стало неудобно. Действительно, что за хамство.
— Пить, — довольно традиционно гуднул больной. Мы, конечно, не реагируем: все просят — всем нельзя.

Леша:

— Давайте к нам его.

Терапевт:

— Подождите. Ведь была здоровая гипоксия мозга, кислородное голодание. Еще возбуждение начнется.

Накаркал, сволочь! Больной стал приподниматься. Опустил ногу. Мы бросились на него. Кто схватил за ноги, кто за руки, кто голову держит. Больной тщится встать.

Поди-ка справься!

Спасательный раж прибавил нам силы.

Больной приподнимается. Мы не пускаем.

Больной надал. Мы придавили.

Он же экс-мертвец, а мы огонь-ребята. Нас захлестнула романтика борьбы. Перед этим борьба была специфическая, а сейчас борьба обычная: дави и не пускай — кто кого!

Больной извивается под нашими руками — пытается подняться.

Шалишь!

Лида ухитрилась померить давление.

Падает!

Капельница остается на привязанной руке — кровь продолжает капать.

Больной слабеет.

Вот мы уже и можем отпустить.

Чья взяла?

— Давление падает!

И пульс уже не сосчитывается.

Уже экс-живой.

И снова все. Леша снова раскрыл грудную клетку. Лида снова ввела трубку в горло. Я снова лью кровь.

Терапевты снимают электрокардиограмму.

А сестры наши уже совсем с ног сбились.

Рабочий день давно кончился.

Вечер.

Мы все с безнадежностью и с какой-то тупой надеждинкой продолжаем делать все то же самое.

— Но это же глупо все. Уже трупные пятна. — Леша махнул рукой и выпрямился.

Да, давно уже все. Я просто молчал.

— Ну пошли тогда.

Лида:

— Я еще сегодняшние дневники в историях не писала.

— Ну и черт с ними. Завтра напишешь.

— Ты ж... Вы же понимаете, какую мне ижицу пропишут.

Леша злобно:

— И правильно сделают. Идиотка! Умела бы с людьми разговаривать — не прописали бы. Ты ж в людях ничего не щадишь. Фанатичка!

Лида побежала по коридору.

— Ты что — осатанел?

— Да! А что?

Я выскочил в коридор.

— Лида! Истории не пиши сегодня!

А она и не собиралась писать. Выбежала во двор. Там уже часов пять сидел и ждал ее какой-то парень с мотоциклом. Она села сзади и вмиг исчезла.

Интересно: плачет или зубами скрипит? Она ведь может по-всякому.

— Ну, Леш! Шагаем домой.

Эк меня заело: «Шагай домой». Ну, ладно.

Впрочем, рецидив часто бывает опаснее первого приступа.

Леша:

— Еще неизвестно, как главная будет реагировать.

— А что тут реагировать?

— А вот посмотрим. Всю кровь вылили, все лекарства дефицитные использовали. Сестрам график сломали. Нам-то она платить не будет, а сестрам, может, и придется.

— Черт с ней. И зачем это все? А?

— Иди ты сам к черту!

Леша в приемном:

— А фамилию вы не узнали его?

— Нет. В милицию сообщили.

— А откуда привезли? А-а, впрочем... Пошли домой.

На улице темно. Не душно. Наконец-то. И дождя нет.

— Леш, пойдем со мной. Я в гости обещал зайти.

— Пошли.

Шаг. Шаг. Шаг.

Молчим. Молчим. Молчим.

Одна улица. Другая. Еще одна.

Совсем безоблачно. На небе звезды.

Кто-то из космонавтов, описывая свои впечатления, говорил: «Алмазы звезд были рассыпаны по черному бархату неба». И своей обычной красотой, привычностью, даже старостью это плохо вязалось с тем необычным, непривычным и новым. о чем он рассказывал. И вдруг тот же космонавт сказал: «Солнце, сверкавшее, как электросварка, было вклепано...» — во что — не помню, но все равно это было здорово. Ракеты, скафандры, невесомость... и вдруг — «алмазы на бархате». Да наш-то парень, наверное, и не видел никогда алмазов на бархате. Я, например, не видел, не приходилось как-то. А вот солнце, электросварка — это, конечно, вторая половина двадцатого века. И понятно всем — ясно представляешь себе.

Мы шли по улице. Звезды были на небе.

— Здравствуйте.

— А я уж думала, ты не придешь!

— На работе задержался. Больной тяжелый.

Леша пробурчал:

— Больной! Он больным-то и не был почти.

Я:

— Познакомьтесь.

— Леша.

— Лена.

Меня злит эта манера. Взрослые люди, и вдруг: Леша, Лена. Идиотство. Впрочем, сам должен был их назвать.

В комнате еще одна. На этот раз знакомят и меня. Я называю свое имя. Тоже только имя.

Лена включила магнитофон. Мы с Лешей хорошие партнеры: ни он, ни я не умеем танцевать. Ни он, ни я не пьем толком. Сидим молчим. Леша начинает тянуть мочалу про какой-то костер в пещере синантропов. По расчетам ученых, этот костер не затухал что-то около ста тысяч лет. Не умели зажигать, вот и поддерживали. Но разговор этой темой не поддержишь. Мне-то интересно, а девчонкам скучно. Да Леше и самому, по-моему, сейчас не до того.

Леша:

— Может, добежать в магазин, купить коньяку?

Я:

— Лен, у тебя кофе есть?

— Есть.

— Сделаешь?

— Ладно. Бегите.

Леша пошел. Я уселся в кресло. Девчонки на кухне. Никто не мешает.

На улице совсем темно. Редкие фонари видны через окошко. Дурацкая у нас логика. Конечно, возбуждение при инфаркте — плохо. А если еще и умирал к тому же — ясно: вставать нельзя. Но что же лучше — встать или бороться с нами? Не знаю. Но допустить, чтоб он встал, — абсурд. А как быть? Наверное, лучше все-таки не воевать бы с ним.

Вернулся Леша.

— Купил. Ты знаешь, зря мы с ним воевали. Пусть бы встал. Меньше бы сил ушло у него.

— Чтоб с инфарктом вставал? С ума сошел!

— А с нами драться... Это ему как? Бодрит? Да?

— Пошел к черту. Давай выпьем.

Девочки что-то не очень пили. А мы пили. Пожалуй, мы опьянели, Леша пошел провожать вторую девочку.

Я:

— Ты приходи, как проводишь. Ладно?

— Приду.

Потом крик в окно:

— Знаешь, я, пожалуй, не приду.

— Ну и черт с тобой. Лен, допьем?

— Давай.

— Только кофейку еще сделай.

— Ну. Аминь.

— Аминь.

Что-то, пожалуй, я лишнее пью. Голос свой я слышу как-то со стороны. И немножечко не мой. И голова кружится. Что значит — кружится? Все стоит на месте. Ничего не вертится перед глазами. Хожу твердо — не шатаюсь. А внутри что-то вертится. Особенно, когда глаза закрываешь. Странно. Вот когда ничего не видишь, тогда все и кружится.

— Лен, аминь.

— Аминь.

— А ты что не пьешь?

— Пью.

— Это разве пьешь? Нет.

— Хватит. Не хочу.

— Почему?

Что я пристал? Не хочет человек, а я пристал. Что за идиотизм. Человек не хочет пить, а к нему пристают. Она устала, наверное. Лицо усталое-усталое. Скучно ей, наверно. Живет одна. И работа у нее идиотская. Вот приходит домой и слушает записи свои эти, забубенные какие-то. А глаза добрые. А может, и не добрые, не знаю.

— Лен, аминь.

— Отстань. По-моему, ты тоже не хочешь, да и не надо. Впрочем, как хочешь.

Почему она думает, что я не хочу? Интересно, как она

ко мне относится? Мы уже полгода знакомы, а пьем вместе первый раз. И зачем пить с ней вместе? Что за постановка вопроса. Да и вообще я питух слабый.

— Лен, дай руку.

— Погадать хочешь?

— Ага.

Конечно, теплая рука. И вся она теплая и добрая. Вот сейчас обниму ее, а она мне скажет: «Отстань». Ну и что? Что от меня убудет? Вот и обниму. Конечно, неприятно, когда тебе говорят «отстань». Я предпочитаю, чтобы мне не говорили «отстань». А плечи у нее действительно теплые. А волосы мягкие.

Лена:

— По-видимому, такой модус ныне у интеллигентов. Пришел, напился и — давай, чего там церемониться...

Боже мой! Действительно. Ведь как выпьешь, так... Интеллигенция — это я. Хм.

— Извини, пожалуйста.

— Да нет, ты уж прости. Но ведь так. А?

— Извини меня, Леночка. Извини. Все. Я пошел, ладно? Надо хоть руку поцеловать на прощание.

Ишь, руку поцелуешь и думаешь: исполнил долг, искупил свое хамство.

— Пока, Лена, я поплетусь.

Дома принял пирамидон.

А утром встал совсем свеженький.

Идиотские ситуации. Интеллигенция! Самоанализ. Работать надо! Пойду.

На подходах к больнице встретил Лешу.

Леша:

— Ты вчера допился до, я бы сказал, весьма гривуазного настроения.

— Хм.

— Не надо было мне уходить. Но и я подвыпил до потери некоторых критериев. Прости.

— Пошел ты!

— Ну ладно. А ты как?

— Мне такую динаму вчера прокрутили!..

— Ну?

— Собственно, мне не прокрутили — я сам себе прокрутил. Так как-то легче думать.

— Сложно ты говоришь, парень.

— Дали поворот чуть-чуть, и я согласился, что аз многогрешный — подонок. И пошел к разбитому корыту. А ты?

— Я был светским, максимально светским. Ты знаешь, я подумал: все-таки мы стопроцентно зря учинили драку с этим Васей. Последние шансы ликвидировали. А?

— May be.

— Насколько я помню английский, в этом «может быть» лишь малая степень вероятности. А если точнее?

— Perhaps.

— Сиречь — вполне вероятно?

Начинается утренняя конференция. Главный врач. Терапевты.

Терапевты докладывают. У них свои проблемы. Приняли несколько человек. Двум больным было плохо — ввели глюкозу, строфантин, давали кислород. Долго возились. Ни минутки не пришлось отдохнуть. Вскользь упомянули про вчерашнюю эпопею. Главная дернулась, но молчит. Потом всхлипнула: «Хирурги!» Это значит — должны докладывать хирурги.

Когда она говорит «хирурги», я слышу совсем другое. Она не любит нас, хирургов. С нами беспокойно. Вечно что-то случается. Всегда тревожно. То операцию затеяли какую-то немислимую, то... Всем уж ясно, что сделать ничего нельзя, — больной не будет жить, а они, видишь ли, пытаются еще оперировать. Ну и смертность, конечно. Какой тут покой! И вообще, она нас не любит. Она сама больной человек, ее четыре раза оперировали. Были какие-то осложнения. Про одного хи-

рурга, в прошлом оперировавшего ее, она говорит: «Он, конечно, спас меня, но чтоб у него руки отсохли, так он мне сделал операцию». Хирург, который спас ее! Спас! Так — чтоб у него руки отсохли. Если это врач так говорит, чего же мы хотим от людей непонимающих?

Она не любит и не хочет понимать нас. Вот однажды она сказала: «Вам новый корпус построили. А раз вам много дается — много и спросится». Это нам (!) построили больницу новую. Нам — не больным. Или еще: пришла в дежурку, говорит: «Дежурным по ночам не спать. Дежурства без права сна. Им за это платят». «Им!» Нам! Да, накидывают там сколько-то за ночь, за «без права сна». Разве в этом дело? А если нечего ночью делать? Ну, скажем, бог миловал, никто не заболел, никого не привезли, больных тяжелых нет, — что ж, не спать? Ждать? Хотел бы я, чтоб ее привезли эдак часам к шести утра, я бы всю ночь просидел за столом, ничего не делал, а просто ждал. Всю ночь. Хороши бы мы с ней были тогда!

Нечего делать — можешь прилечь. Понадобишься — разбудят. Нет, как можно — тебе платят за «без права сна»? А если бы всюду такие главные были? Слава богу, хуже ее или даже таких — не знаю.

Вот она услышала про вчерашнее оживление. И сразу ожесточилась. Стала выяснять. Вызвала старшую сестру. Картина неприглядная. Ухнуло все, что можно, — кровь, лекарства; график сломан. А больной все равно умер. Вообще-то, ее понять тоже можно. Самое тяжелое — это график. Платить-то девочкам надо: других вызвали из дому, другие девочки дежурили, а не те, кто по графику. Нам-то что. Знай себе оживляй. А на ее шее смета, фонды, графики.

Шуму было много. Забегая вперед: Леше выговор — не имел права оперировать в непригодных условиях (вскрывать грудную клетку). Грязно, видите ли! А если бы мы оживили? Конечно, она права — при инфаркте это редко удается. Но если из десяти, ста тысяч, миллиона один уйдет домой, уже игра стоит свеч. Поди реши, кто прав. А скольких

больных мы лишили нужного? Впрочем, вернее будет так: реши, кто виноват. Она ведь со своей колокольни права. А в приемном покое на столе под стеклом появилась такая бумага: «Временно всем врачам хирургических и терапевтических отделений запрещается проводить манипуляции по оживлению до особого распоряжения, за исключением шока, кровотечения, послеоперационных осложнений». Это значит: инфарктников временно оживлять нельзя.

Мне нравится это временно.

Зав сказал:

— Плевать. Если надо, так будем.

И ей тоже сказал:

— Надо, так будем.

Пришел в отделение и распорядился:

— Чтоб был готов набор для оживления на всех этажах и в приемном покое. Нельзя ждать, пока принесут. Оживляйте. Опыт показал, что шансы есть. Это уже наш личный опыт.

У нас есть сестра одна — Аня. Лет сорок. Может, больше. Хорошая сестра. Все отдает больным — и время и силы. Люблю я с ней работать. Но фискал — сил нет. Все время бегают к главной, докладывает.

Леша:

— Твоя Аня опять была у патронессы. Доложила про зава. Та орет, естественно, — хирурги! Что она орать может? Разорю, разгромлю, не допущу — черт ее знает. Вызвала зава. Тот пришел от нее — на нас зло срывает. Словом, пошла писать губерния. Твоя Аня!

— Посмотри, — подвел я его к окну. — Видишь?

Под окнами ходил пожилой человек приблизительно шестидесяти лет. Мы его видим ежедневно и зимой и летом. Он ходит с девяти часов утра и до конца рабочего дня. Сейчас еще ничего, а зимой ему тяжело. Когда его встречаешь, он подобострастно складывается: «Добрый день». Или: «Добрый вечер». Я тоже стал при прощании и встрече с ним складываться. Лицо у него узкое, иссечено продольными складками,

как у Пола Скофилда, под глазами темень — трагическое лицо.

Это муж Ани — он на пенсии. Он боится ее оставить одну, боится одну на работу пустить — боится, что изменять будет. Вот и мучается. На работу с ней идет. Идет в стороне, а не вместе — ей неудобно. Она работу кончает — эскортирует домой.

Он смотрит в окно — я кланяюсь.

— Видал?

— Ну и что?

— Да я не оправдываю, объясняю.

— А кому легче от этого? — Леша довольно зло это говорит.

Опять все правы.

Впрочем, правых нет, кроме тех, кого я понимаю. А кого не понимаю, те мне не кажутся правы. Интересно, что думают те, которые их понимают, обо мне?

Зав сегодня не стал оперировать. Разволновался после крика у главной. Леша вместо него оперировал. Этого ничто не берет.

Лида, конечно, всех подзуживает и опять орет про «тихое болото». Сегодня она права, как никогда, но все настолько привыкли к ее выходкам, что уже не реагируют.

Леша злится:

— Вот видишь! Теперь, может, и была бы польза от ее криков, да никто не обращает внимания. Переорала не там, где надо. Она ужасно бескомпромиссна, прямолинейна, а стало быть, ограничена. Жестокая она! Я уж ей и Ленина «Детскую болезнь» в пример приводил. Помнишь место о компромиссах?

— Ну брат! Ты мастер! Деликатнее надо.

— Да ну ее к черту. Такую деликатностью не проймешь. Ты заметил, как у нее все больше прорезывается звериный оскал?

— Не глупи.

— Ну, увидим. Сейчас она хороший доктор для начала,

но с ее безапелляционностью через пяток лет — в дым закос-неет. Вот уж будет болото! И не прошибешь.

— Все-то ты знаешь, парень. Скажи мне, а как лечить дуоденостаз?

— А ты чего это вдруг? Что, больной такой есть?

— Знакомая одна мается.

— Животом, так сказать?

— Естественно. Но ты вопросы мне не задавай. Я их тебе задаю. Отвечай.

— А доказано?

— Абсолютно.

— Ну так надо оперировать.

— А что делать?

— Что! Резекцию, конечно.

— Молодая баба. Жалко желудка-то лишать.

— Жалко?! Наша жалость больным всегда боком выходит.

Почему-то в обычных человеческих взаимоотношениях считается общеизвестным: жалость убивает, унижает и тэдэ и тэпэ. А как наши медицинские дела, которые, по-моему, наиболее человеческими должны быть, тут сразу и «жалко» появляются, и всякие там сюсю, и прочие слюни. Ну жалея, жалея! Только как же лечить тогда? Вот как раз в обычных-то человеческих взаимоотношениях жалости, пожалуй, не хватает у людей. Лечить надо.

— Ну, например, анастомоз наложить? Все будет идти в кишку, минуя двенадцатиперстную. А?

— Так ведь и туда тоже будет идти. Туда и естественнее, и кишка к тому же расширена. Ну, знаешь, я тебя за грамотного хирурга держал...

— Очень это сложно, отец. Но ты во мне не разочаровывайся — я тоже так думаю. Просто ей уже сделали операцию — анастомоз. Пожалели. Тот самый случай.

— Где делали-то?

— Какая разница. Теперь же все равно.

— Ну, а сейчас как дела? Сколько времени прошло?

— Полгода. Опять боли.

— Ну, что я говорил! Нельзя жалеть!

— А что ты так радуешься? Болит же.

— Ты уж меня прости. Может быть, я твою сказочку своими грязными лапами трогаю, но приятно оказаться правым. Ведь действительно не надо жалеть. Получилось-то безграмотно. В своем деле, если ты его по-настоящему знаешь, никакого эмоционального слюнтяйства допускать нельзя!

— Надоели мне все эти сентенции. И вообще, пора работать. Тем более что я сам уже как-то декларировал все это.

— Приоритет твой, конечно. Я и не тягаюсь. Но вот что я никак не могу себе простить, так это борьбу, которую мы затеяли с Васей.

— Ну вот опять. Все уже ясно. Пошли. Мне еще с Дубовой проводить беседу. Будет жалоба. Неправильно лечили, говорит, и все тут.

— Что тебе жалоба? Ведь все правильно.

— Все равно. Не знаешь, что ли, что такое жалоба? Чего-нибудь найдут. Нервишки потянут. Противно.

— Ну полный анекдот! Отрезали бы руку — и никаких жалоб! А?

— Смешно. А так. Абракадабра. Сейчас буду говорить с ней. Завтра выписываю.

Тяжелый это был разговор. Так трудно говорить: вас правильно лечили, вам руку спасли. А она в сотый раз: неправильно лечили, подумаешь, «спасли», она ж не работает...

Уходим с Лешей домой. В раздевалке его ждут двое. Расспрашивают о больном, поступившем к нему в палату этой ночью. Что тот говорил, кто его ударил, может быть, это драка? А может быть, это брат его так стукнул, а потом доставил сам в больницу?

Парень поступил с травмой черепа. Сейчас он без сознания.

Леша пустился с ними в рассуждения. Кто бы мог ударить, а кто не мог. Стал спрашивать, что говорят соседи,

родственники, что было на месте, где его обнаружили. И так далее. Наконец он освободился, и мы пошли.

Я:

— Зачем ты ведешь эти разговоры? Тебя спрашивают — отвечай. Помоги, так сказать, правосудию. Ты-то что спрашиваешь?

— А как же?

— Какое тебе до этого дело? Я не спрашиваю. Мне неинтересно. Мое дело — лечить. Привезли пьяного. Может, сам прицепился к кому-нибудь и оказался в нокауте. Отвечай на их вопросы — и все. На кой тебе-то дались эти детективные моменты?

— Больно ты желчен, парень. Я нормально разговариваю с людьми. И им приятно, что я расспрашиваю. И мне интересно.

— А мне нет. И когда кто-нибудь при мне начинает выяснять эти подробности — кто ударил, за что ударил, а ты что, а тебе что, а она как, и так далее, — мне это все просто противно. Это скотское пьянство мне противно и все, что имеет к нему отношение. Перепиваются, дерутся, головы себе проламывают. Ну и пусть...

— До чего же ты сам противен! Зачем же ты лечишь?

— Лечу, потому что не люблю смерти. Борюсь с ней. И все.

— А ты что, не пьешь?

— Пью. Но ведь не до такого свинства, как эти гаврики, которых у нас в отделении полно.

— Э-э! Пойди найди меру. Красиво говоришь, и не более того, маэстро.

— Ну и пусть красиво. Я сегодня столько красивых слов наговорил Дубовой, что, видимо, инерция действует.

— Слушай, поедем в воскресенье куда-нибудь за город.

— Неохота. Я не большой любитель природы.

— Пижон ты. Поедем. Там так красиво.

— Отстань. Сказал — не люблю.

Леша вдохновился. Думает — сейчас научит меня что-то понимать.

— Да ты оглянись на нее, на природу-то. Ты хоть видал здесь окрестные места-то? Природа может сделать такое невообразимое! Это же всегда интересно — смотреть на невозможное, неожиданное.

— Человеческий ум может создать более неожиданные вещи. Человеческий ум сложнее. А потому отстань. Предпочитаю удивляться в городе. Вон смотри, какая машина землю копает. Все сама делает. Ее не природа создала, а человек.

— Но ты не знаешь даже, как хлеб растет!

— Во-первых, знаю. Книжки читаю. Там есть все. А потом — не считаю таким уж позорным, когда думают, что французские булочки на деревьях растут. А почему все должны все знать? Каждому свое.

— Когда тыходишь в полемический раж, лучше с тобой не спорить. Эх ведь загнул! Вроде мы с тобой так одинаково мыслим иногда, а временами кажется, что между нами пропасть. Как так можно — не любить природу?

— Да я и не «не люблю». Я к ней относительно равнодушен. Я к городу неравнодушен. Город я люблю.

Довел его до дому и пошел к себе.

Вечер.

Пошел на переговорный пункт поговорить с Москвой. В ожидании разговора решил позвонить кому-нибудь здесь. Кому? У Лешки телефона нет. Лене? Не стоит. Заву? Неохота. Может, Лиде? Лиде? Нет, не буду. Во всяком случае, наменяю сейчас двухкопеечных, а там видно будет.

— Вы не можете мне разменять двадцать копеек двухкопеечными?

— Три хватит?

— А все двадцать можете?

Вдруг крик. Сразу перешла на крик:

— А другим что я буду давать? Только о себе думаете. Другим-то что останется?

— Не надо. Я просто спросил. Не можете, не надо.

Она не слушает. Как будто целый день ждала меня:

— А другим что мне давать? Запасы себе делаете. Себе все. А другим как? Не знаете. И знать, главное, не хотите.

Дальше пошли обобщения. Я скрылся в телефонную будку, хотя так и не придумал, кому звонить. Прижал трубку к уху — для вида. До меня доносятся разнообразные обобщения. Мне становится противно, будто на меня скунс напал.

Смотрю — Лида входит. Садится. Читает газету. С ней какой-то парень. Опять другой. Что она мечется? Подойти вроде не совсем удобно. Не подойти тоже неудобно.

Выхожу из будки.

— Здравствуй, уважаемая Лидия Сергеевна. Отдохнуть пришла?

— А-а, — без всякой эмоциональной окраски протянула она. — По телефону меня вызывает Минск. Старики, наверное. Интересный очерк о сердечной хирургии в газете. Читали? Посмотрите.

Почему-то не познакомила. Неудобно. Может, ей самой еще более неудобно? Или воспитания не хватает? Ладно, читаем. Пусть разговаривают.

Какая гадость! Пошлость. Люди пишут, совершенно не представляя себе предмета своих описаний. Придумать такое: «Осторожно, словно кашмирскую шаль, он рассек сердечную сорочку».

Конечно! Выходит, будто шаль надо рассекать более осторожно, чем сердечную сорочку. Надо додуматься! За шаль платить надо, а это бесплатно. Так, что ли? Иначе чем объяснить большую осторожность по отношению к шали?

Возвращаю Лиде газету:

— Не нравится мне...

Меня соединили. Бегу в будку.

— Можно Нину Павловну Петровых?

— Это я, душа-человек. И радуюсь столь быстрому отклику.

— Ну, как доехала? Удачно?

— И более того — благополучно. И еще более того — великолепно.

— А как, простите, ваш живот? Мааетесь?

Смех.

— Во-первых, спасибо. Все в порядке. А во-вторых, мой милый, партнер бывлых забав, Петровых — фамилия девичья. А мужнина фамилия иная. Впрочем, сейчас я уже могу называть себя вновь по-старому, ибо уже позволила себе снова быть холостой.

— Пардон. Ежели что не так сказал — поправляйте, учите меня.

— Ну, как молодежь вашего города? Смогу ли я вступить в борьбу?

— Молодежь уже повержена тобой давно. Она у ног твоих.

Лида сидит со своей молодежью. Что-то говорит, чему-то улыбается. Пожалуй, зубы у нее слишком крупные. Зато какие белые! Ишь, сверкают! Незаметно, чтоб она бросалась Нине под ноги... Ну, ладно звонить-то!

— Что нового в столице?

— Да все по-старому. Те же радости, те же болезни. Все-таки, отец, живот болит.

Чужой голос:

— Осталась одна минута.

Телефонная судьба!

Я:

— Дайте еще три минуты.

— А как, нового ничего нет в отношении врачей? Насчет жалоб на врачей и прочих художеств. А?

— Сдаюсь, родной мой, сдаюсь! Я никого не виню... А! Я все поняла! Ты позвонил специально, на всякий случай, желая оградить своих коллег от лишних жалоб.

— Ну и дура же!

— Мысль глубокая и блещет новациями. Спокойно, мой дорогой. Жалоб не будет. Мы люди интеллигентные...

— Интеллигентные — это что? Чей круг узок и которые больно далеки...

— Юноша! Все ясно — и юмор и эрудиция. Учти, что вместо жалобы на своих коллег ты будешь иметь новую пациентку. И трепещи! Я старая больная женщина с большим и резаным животом.

— Осталась одна минута, — неприятно крикнул в ухо чей-то милый голос.

— Ну ладно, Нина. Двадцатый век позволит нам и впредь общаться. Крепко жму твою шею.

— Аминь. Остаюсь — твоя постылая.

Крак... и в ухе пустота.

Лида говорит по телефону. Парень ее ждет. Здоровый парень. Поди-ка тягайся с этой молодежью. Уйду, не буду ее ждать. Не одна ведь она.

Какой-то пустой разговор был. О чем говорили? Вроде и не говорили. Из-за этого ее жаргона никак полного контакта у нас не получается. Юноша, юноша. Все на взводе, а до нутра не доберешься. Или, может, это не только из-за жаргона? Все-таки хорошо, что позвонил. Спокойнее стало. Почему?

И опять улица. Опять темно. Все опять. Звезды, луна, небо, земля, улица, дома, духота... и троллейбусы! За углом целая толпа троллейбусов! Тут троллейбусный парк. Они все не помещаются на территории, так их на улицу выставили. Ряды, ряды. Колонны. Застыли. Самые разные. Мрачные, темные. Двери у некоторых почему-то раскрыты. А вот их несколько отдельно кучкой стоят. Шепчутся, наверное. А вот новые, светло-разноцветные, и все какие-то очень обтекаемые. У самого парка стоит группка освещенных. Верхняя часть окна залезает на крышу, и стекло там почему-то зеленовато-синее. А внутри — лампы дневного света. Холодный, слишком белый и в то же время свинцовый, неживой свет. Они стоят, а из парка выезжает еще несколько машин. Создается впечатление, будто они проталкиваются сквозь эту толпу. Смешно.

Ладно, пускай проталкиваются, а я пойду. Куда? Домой. Спать. Читать. Писать. Что-нибудь буду делать. На следующий день я дежурю.

Дежурство прошло спокойно. Из тридцати часов, проведенных в отделении, три часа ночью спал. Оперировано шесть аппендицитов, одна внематочная беременность, один холецистит. Двое больных оставлено для наблюдения: что с ними — неясно.

Нежарко, но солнце, приятный ветерок — хорошо идти домой. Основная масса работающих еще не вышла. На улицах народу мало. А город строится, строится. Сколько домов вокруг понастроили! Наверное, и поэтому тоже народу мало: хорошие дома, хорошие квартиры, приятно дома сидеть. Чего таскаться? Так и стараются быстрее в квартирки. А вот тоже сооружение недавно достроили. Башня как булава. Строили водонапорную башню. В городе это строенье называют «Семнадцать трестов». Строили его десять лет. А когда закончили, оказалось, что запланированная высота ниже вновь построенных домов. Запланированная цель уже, стало быть, отпала. Вселили вместо воды в эту крепость семнадцать каких-то контор. «Семнадцать трестов»! А вот из-за башни девочка выбежала. Как олененок скачет. За ней идет парень. Стараются не терять хозяйского достоинства. Тяжелая поступь. Уверенно идет. Думает — хозяин. Время от времени выкрикивает: «Стой! Стой же!» И так несколько раз. А она прыг да прыг. Потом остановилась. «Что за стой? Я что, лошадь тебе?» И пошла к нему навстречу. Грациозно выступает. Идет, улыбается. И он не такой уже уверенный.

Рядом крик:

— Штандар!

Ребята играют в штандар. Поймал мяч — кричи «штандар». А другой должен остановиться. Почему «штандар»? Откуда это слово? Стандарт — ни при чем. А может, это

от немецкого *stehe dort* — «стой там»? Это, пожалуй, подходит.

Слова иногда вырываются из рук и начинают вести самостоятельную жизнь. Кажется, с устатку и я становлюсь пифагорейцем. Конечно, мы часто отходим от первоначального смысла слов.

Дома я почувствовал, как хочу спать. А ведь из больницы вышел бодренький. Если бы кого встретил да еще б куда-нибудь пошел, так и совсем спать бы не хотел. А может, не стоит ложиться, перетерпеть? Нет, пожалуй, лучше посплю, а вечером буду свободен.

Стук в дверь. Соседка.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте.

— Вы меня извините, пожалуйста. Тут ко мне пришел один наш близкий знакомый, у него что-то ноги болят. А его что-то в поликлинике не так лечат: все болят и болят. Может, посмотрите? Вы не заняты сейчас?

— Нет. Свободен. Приводите.

Молодой человек лет тридцати.

— Заболел я две недели назад. Мы были на стадионе. Шли с ребятами домой. Чувствую — нога что-то болит. Я говорю им — нога болит. Они говорят — устал, наверное, набегался. Я говорю — нет, не от этого...

С минутку я не слушал. Потом услышал:

— Я говорю ей — нога болит. Врач молодая, неопытная. Говорит — покажите. Смотрит ногу, а там прямо полоса такая болит. И красное там же. Я говорю... Она говорит... Я говорю...

Еще через минутку:

— Таблетки дала мне принимать. Ну, а что таблетки — нога ведь болит. Ни повязки, ничего. Бюллетень дала. Сказала... Я пошел...

— Покажите ногу.

Ну, конечно, типичный тромбоз.

— Какие таблетки? Где они?

— Рецепт вот. А таблетки я не покупал.

— Отчего ж?

— А мне посоветовали йодом смазывать и компресс делать. Лучше стало, но до сих пор болит. Таблетки эти не от этого. Я знаю. Сестра моя принимала, а у нее ревматизм, сердце болело.

— Вот принимали бы эти таблетки, уже все прошло бы сейчас. А так вот и болит. Надо их принимать. Купите сегодня же.

— Видите как. А я думал, не от этого. Она такая молодая, неопытная, блондиночка...

Несет какую-то чепуху. Что он понимает в нашем опыте! Неудобно: он что-то говорит, а я уже совсем не слушаю — спать охота. Все ясно. Ясно, чем болен. Ясно, чем лечить. Чего же дальше разговаривать, Голос какой-то у него странный. Голос где-то прыгает, скачет — горный тур. С камня на камень. Так занудно скачет! Вернее, посканивает. Хочется ему порассуждать о врачах, о болезнях. Любит, видно, поговорить про это. Что ж, о вкусах не спорят: ему нравится о болезнях и врачах говорить, мне нравится спать.

— ...Ну и, конечно, рука на сторону. Я и говорю ей — неправильно лечили, значит. Она говорит — руку спасли. Я говорю: как руку-то спасли — она же скрюченная. Она говорит — но сохранили же! Не понимает! Я считаю...

Уж не про нашу ли Дубову говорит? Определенно про нее! То-то она шуметь стала! Уговорщики нашлись.

— ...Всего-то что, царапнула палец! А они ее запугали: вроде и руку хотели отнять. Это чтоб в случае чего, если чего неправильно...

— Что ж — заранее пуги отступления искали, да?

— Ну да. Все предусмотрели. Мне все ясно. Я таких людей знаю.

— У вас дети есть?

— Есть. Сын. Семь лет.

— А учительница в школе хорошая?

— Ну как вам сказать? Я сам бываю на собраниях. Молодая, симпатичная. Конечно...

Опять он что-то говорит, говорит, говорит, спросил. А за чем? Рассуждает.

Я:

— Вы таблетки-то эти принимайте. Если б вы их сразу принимали, уже все прошло б.

— ...В такси, конечно...

При чем тут такси? Ничего не понимаю. Ах, это он уже про свою работу. Наверно, заснул я на мгновение. Это бывает. Но при чем тут его работа? Как он до этого добрался?

— Конечно, курить не позволю у себя. Так что не только сам не курю, но и вокруг меня не курят.

А-а. Это в связи с больными ногами. Объясняет, что не от курения.

Я:

— Это вы у себя в такси курить не разрешаете?

— Нет, нет. Это вы не беспокойтесь. Это я соблюдаю. Я даже повесил бумажку: «У меня не курят». У меня в машине порядок полный. Я за ней слежу знаете как! Чищу, мою не по обязанности, а от души, на совесть. Нет, у меня порядок.

Я очень спать хочу. Какая там машина! Или это он в благодарность: я с ним говорю о своей работе, вот, например, ногу даже смотрел, а он за это мне о своей работе рассказывает.

— ...Пьяного никогда не посажу. Имею право. Он и запачкать может машину, и денег у него может не быть — не расплатится.

— А вдруг до дома не доберется! Уснет где-нибудь, замерзнет.

— Ну что ж, судьба! Не надо напиваться до чертиков.

Кажется, что-то в этом роде я же недавно сам говорил в споре с Лешей.

— ...Короче, я не хочу иметь дела с пьяными и не имею.

Ему-то проще. Я тоже не хочу иметь дела с пьяными, но сплошь имею.

— ...Целоваться не разрешаю.

— Как целоваться не разрешаете? Не понимаю.

— В машине не позволяю. А то некоторые как сядут в машину сзади — так сразу целоваться.

Я захохотал.

— Отчего ж не разрешаете? Они ж не мешают вам.

— Нет. У меня машина, а не публичный дом.

— Ну при чем тут публичный дом? Может быть, они любят друг друга?

— Любишь — женись. Сиди дома и целуйся.

Я опять стал засыпать. Он что-то говорил. По тону я угадывал, что он меня чему-то учит. Наверно, как правильно жить, чтобы быть полезным членом общества, а не паразитничать, не пить, не курить, не развратничать.

Он ясно видит свою цель и идет к ней прямым путем. Он не остановится перед препятствием, а ломает его, даже если этим препятствием будет человек. Дорога его пряма, но страшно узка. Штампы, не затуманенные сомнениями, ясные и четкие, как пульс у гипертоника.

В конце концов он ушел, а я как сидел на тахте, так и повалился, так и уснул.

Воскресенье. Утро.

Не помню — бабушке приготовил я документы или нет. Кажется, все было в порядке. Сегодня ее увезут домой. Завтра Дубова уходит. Надо бы позвонить в больницу. Автомат недалеко.

— Алло. Здравствуйте. Попросите, пожалуйста, кого-нибудь из дежурных, кто поблизости... Лидия Сергеевна? Лидочка, проверь, пожалуйста: я приготовил бабушке документы или нет.

— Все на месте. Выписка из истории лежит.

- А как она?
- Нормально. Как всегда. Жалоб нет.
- Ну тогда ладно. Когда отправляете?
- Через час-полтора, наверное.
- А машина уже есть?
- Вот как раз в это время и обещали прислать.
- Тогда помогай бог.

Пойти, что ли, про дуоденостаз почитать? Или сначала пошататься, раз уж вышел?

Одна улица. Вторая. Сад городской. «Вход в горсад запрещается людям в нетрезвом виде, в майках, сарафанах, сетках». Ну и ну!

Встретил Лену.

— Лена! Здравствуй, дорогая!

— Приветик!

До чего ж я не люблю это словечко!

— Куда идешь?

— В магазин.

— Что вечером делаешь?

— Гуляю...

— Может, объединим вечером наши координаты во времени и пространстве?

— Предложение запоздало. Ангажирована.

— Значит, не судьба.

— Именно. Скажи-ка, пожалуйста. Давно хотела спросить.

Ты к словам всегда серьезно относишься?

— Вполне.

— Ну тогда и сам говори их думая. А то к чужим словам ты относишься со всей серьезностью, а себе можно позволить все, наверное — Она посмотрела на меня как-то крупным планом и продолжала: — У тебя, я бы сказала, нравственность сочетается с какой-то странной безнравственностью.

Мне стало не по себе, и я не выдержал:

— Знаешь, есть такой афоризм: когда мы счастливы — мы всегда нравственны, но когда нравственны, мы не всегда счастливы.

ливы. — Чувствую, что говорю, лишь бы что-нибудь сказать. Создаю лишь звуков колебания. И дальше, уже человечнее: — Лен, что это тебя понесло?

— А ничто. Я вот надумала все это, а теперь необходимо высказаться. К сожалению, таких, как ты, немало. «Он сказал, а тот не сказал. Тот выступил, а этот заявил». И всему значение придаете. Вам ведь что ни скажи — у вас тут же и решение, и концепция, и все выводы. А сами вы несете черт знает что, и не дай бог сделать из этого вывода, даже мне, бабе... А если не несете — делаете, хотите делать...

— Лен! Сдаюсь. — А что мне оставалось? — Может, все-таки вечером будешь свободна?

— Нет, дорогой, ты извини, что я тебе все наговорила это, — попал в самую минутку. А вечером я, так сказать, ангажирована «пур мазур». Так говорю? Нет? Прощайте, сударь. Впрочем, звоните, приходите. Нам будет очень приятно.

Улетела.

Позвоню в Москву.

— Нина Павловна! Здравствуй, мать.

— Зачастил ты что-то, отец.

— Так ведь ты меня обрекла на муки. Лечить тебя надо.

— Понятно. Как это? «Она меня за муки полюбила, а я ее — за состраданье к ним». Ну, в нашем варианте, в силу твоей профессии, получается наоборот.

— Как там твоя машина? Пора бы ей включиться в жизнь. Не находишь?

— Я ведь человек простой. И слова мне говори просто и ясно. Что, считаешь нужным мне приехать? Я не уверена. Не уверена.

— Я, по-твоему, уверен? Те, кто во всем уверен, это, Нина Павловна, страшные люди. Да им и самим, наверно, невесело.

— Пошла писать губерния! Без философствований, мой мальчик. Пока готовься и подбирай литературу для серьезного освоения моей болезни. И помни: «Человек, отвори взор свой от самого себя и посмотри на куколку муравья. Она намного

больше твари, ее породившей. Такая картина послужит тебе изрядным уроком». Не совсем точно, но смысл передала. Как бы болезнь не оказалась муравьем. Или, что не лучше, не оказалась бы личинкой.

Везет мне сегодня на обобщения, и все от лучшей половины человечества. К чему бы это? Нина опять осталась где-то за стеной. Опять не пробился сквозь звон и шуточки.

Все равно я весь день читал про дуоденостаз.

Обалдев, пошел в сад. Решил полежать там с часок.

Лежал и мысленно опять спорил с Лешей. В природе все целесообразно. Даже при кажущемся хаосе природном. А человеческий ум свободней, причудливей, он не так связан целесообразностью. И творения его бывают совсем неожиданными, даже странными. Я предпочитаю природе плоды человеческой мысли. Ну и болван же я, безмерно философствующий! Полежать на траве все-таки приятно.

Лежу. Над глазами — небо с фестончатыми краями: это откуда-то из-за краев поля зрения торчат деревья, кроны. В зубах у меня сигарета. Рядом с глазами — травинки. В стороне я вижу любителей природы. Они рвут цветы. Они любят — и рвут.

Понедельник. Утро. Больница. Отделение. Лида бледна. Тащит меня в сторону.

— Скандал.

— Что случилось?

— Подите поговорите с нянечкой, которая отвозила вашу бабушку домой.

Пошел поговорить. Слышу:

— Все было хорошо. Приехали мы домой. Прошли в квартиру. Там соседи. А сам ушел и ключи унес. Соседи говорят — ничего, ничего, она у нас побудет, пока он придет. А мне шепчут, что он нарочно ушел. Ну, оставили меня чай пить. А я работу кончила, почему, думаю, не попить. Сижу пью. И она с нами пьет.

До чего ж нудно!.. Быстрее! Пью — не пью, зачем мне все это знать?

— ...Ну, так с часок я посидела, поговорили обо всем. Я недалеко живу. Вдруг смотрю — бабка-то наша стала синяя, дышит часто, молчит и медленно так заваливается на пол. Ну, мы ее подхватили. Ворот расстегнули... и так далее. Соседи побежали за врачом. Приехала «неотложка». Ну, что ж говорить — умерла бабка.

Все ясно. Скандал! Скончалась через час после отъезда из больницы. Бегу к заву. Сообщаю. Мол, так и так — бабка умерла.

— Какого же черта ты ее отправлял тогда?

— Кабы знать-то? Вы ж понимаете.

— А что мне понимать?! Что мне от этого понимания?! Смерть при таких обстоятельствах! Если начнет завариваться по лучшим традициям — сразу подавай заявление. Прямо тебе говорю.

— Может, правда, лучше бы она лежала у нас. Пусть так, без всякого смысла. По-видимому, все равно она померла бы. Но у нас.

— «Правда!» В этой-то «правде» все и дело. Умерла бы она у нас — никаких придирок, жалоб, недовольств. Ну, главная сейчас начнет! Знает она?

— А я откуда знаю? Мне только что сказали.

— Этой бабки-то муж — тот склочный старикан?

— Именно.

— Ай-я-яй! Где Леша?

— Заболел, говорят.

— Это еще что? Здоровый кобель — мог бы и не болеть. Напомни ему, что жених любит невесту красивую, а муж — жену здоровую. Нам нужны здоровые хирурги. Пойди к нему и передай это без всяких интеллигентских смягчений.

Бывают люди, у которых какая-нибудь неприятность, дурное настроение выволакивают из нутра нечто жестокое и прямолинейное. А некоторых плохое настроение делает мягкими и

настраивает на грустный лад. У одного схема: «Мне плохо, почему другим должно быть хорошо?» У другого иная схема: «Мне плохо, ну и хватит».

День шел вкривь и вкось. Выписываю Дубову. Прощальный разговор.

— Ну, рана ваша зажила. Теперь все зависит от вас. Дома постоянно занимайтесь гимнастикой. Не пренебрегайте.

— Что гимнастика?! Теперь гимнастикой не поможешь. Надо сразу как следует делать.

(Слышу того шофера. Широко их влияние, этих убийственно правильных.)

— Я же вам объяснил — дело не в неправильном лечении. Все было правильно. Надо было руку спасти. А потом уже думать о правильном положении ее. Каждый день мы с вами говорим об одном и том же. Вам надо заниматься гимнастикой. Будете ходить в поликлинику в кабинет лечебной физкультуры.

— Некогда будет — я буду во ВТЭК ходить, чтоб мне инвалидность дали.

Вот опять сказка про белого бычка. Я об одном, она о другом. Не пойдем мы друг друга. Хотя оба, наверное, друг друга отлично понимаем. Просто каждый гнет свою линию. Одна сторона боится за руку, другая говорит о «восстановлении функций конечности». Да, да, каждый гнет свою линию. Довольно частое явление. Она преисполнена оппозиции к медицине вообще и явно недовольна конкретными врачами, «неправильно лечившими ее». Я же просто-напросто боюсь, что будет жалоба, и упорно пытаюсь вдолбить ей уверенность в нашей безвинности.

А жалоба наверняка будет. Теперь, в сочетании этих двух случаев, нам придется плохо. Начнут искать, копать. Найдут массу ошибок. Сейчас начнутся мытарства.

Вечером у Леши.

— У тебя что?

-- Ангина.

— Температура?
— Тридцать восемь утром. Сейчас лучше. У нас что?
— С бабкой моей плохо. — Рассказываю про бабку. —
Дубову выписали. — Рассказываю про Дубову.

— Да, если пожалуется — дело плохо. И вроде бы все правильно, придраться не к чему, а все равно скверно. В таком сочетании все скверно.

— Да и главная только ждет случая, чтобы начать против нас карательную экспедицию.

Прошла неделя.

— Тебя к главному врачу.

Иду.

— На вас жалоба от родственников Сувориной.

— Жду уже.

— Дождались. И вообще, что значит «жду»? Ждете — значит, виноваты.

— Коль человек умер при таких обстоятельствах — всегда надо искать виноватого. Ищите — и обрящете.

— Вы эти шуточки дурацкие бросьте. Чем сейчас шутить — надо было с родственниками поговорить, а не возить старого человека без его родственников домой.

— А что нам было делать?

— С родственниками надо было договориться, с мужем, с сыном.

— С мужем я говорил, а сына ни разу не видал.

— Значит, плохо говорил. Мне все ясно. Если жалоба есть — врач всегда виноват: не нашел контактов.

— С больной-то у меня контакт был. А вот с мужем — дело безнадежное. Он категорически отказался брать ее домой, пока язва не заживет. Что ж мне оставалось делать?!

— На то вы и врач, чтоб суметь найти общий язык. Почему у терапевтов все спокойно, а у вас всегда какие-то эксцес-

сы? Почему вы никогда вовремя не выходите к родственникам? Почему за вами надо по десять раз бегать?

— У нас же операции. Не брошу я операцию, чтобы беседовать с родственниками.

— Это вы устраивайтесь как хотите, но чтобы с родственниками разговаривать.

— А по-моему, к больным их надо пускать каждый день — половина конфликтов отпадет. А кто жалуется? Муж?

— Муж и сын.

— Я сына ни разу не видал.

— Не видал. Вот и плохо. Оттого и жалоба, что с родственниками не разговариваете. Плохо санпросветработа поставлена — вот где корень ваших бед.

Корень! Как легко найти корень! И ответ на все вопросы ясен. Люблю, когда людям все ясно.

— Ну уж если говорить откровенно, то всю эту санпросветработу я бы ликвидировал. От нее один вред. Больные уже считают, что они все знают, и это только осложняет дело. Сами лечат себя. Санпросвет — это просто вредительство!

Эк махнул, сразу же и готовый ярлык — вредительство!

— Ну знаете, не вам обсуждать, нужна санпросветработа или нет. Ваше дело ее проводить. Начальству виднее.

Когда услышишь вот такой крик души, прямо из анекдота «начальству виднее», совсем теряешься.

— Нет, не виднее. С больными имеем дело мы, а не начальство, медицинская грамотность не может быть частичной, половинной. Или она есть — тогда можно лечить, или ее нет — тогда и думать не могли. А теперь вон даже в «Науке и жизни» стали рекламировать лекарства. Сами и лечатся, по-своему, сами все понимают, а на нас жалуются.

«О тайнах сокровенных невеждам не кричи и бисер знаний ценных пред глупым не мечи». Прав мудрый перс, а я идиот.

— И правильно делают, что жалуются.

Суворины послали жалобу в министерство и еще пять ко-

ний: в ЦК, в горздрав, в областную газету, в горком и районному прокурору.

Да, вот так и бывает. Умерла бы в больнице — не было б, наверное, жалобы. Отрежь руку Дубовой — никаких бы недовольств не было. Всего лишь только горя больше! К чему причают нас эти жалобы-то! А ведь еще, чего доброго, найдутся такие предусмотрительные... Нет. Не верю! Плевать на эти жалобы. Пусть разбирают.

— Райздрав назначил комиссию из девяти человек, будут проверять вашу работу. А то шуму у вас много, вечно операции какие-то немыслимые, а как дело делать, так вы не можете, не найдешь вас никогда.

Я развел руками.

— ...Вот будет комиссия работать, тогда мы с вами и поговорим. Допрыгались!

Я ушел.

Ждем, что будет.

А что будет? Сначала, конечно, вызовы во все инстанции, звонки отовсюду...

У секретаря райкома. Во время разговора зашел в кабинет и районный прокурор.

Секретарь:

— Почему вы выписали больную с незалеченной язвой? Объясняем.

— Почему отправили домой без мужа? Объясняем.

— Почему муж отказался? Не объясняем.

— Почему муж ушел из дому в тот день? Еще менее того можем объяснить.

— Могла ли она умереть и в больнице? Высказываемся.

— Могли ли вы предотвратить ее смерть?

Разводим руками.

В общем, обычный корректный разговор.

Вдруг прокурор вступает:

— Это предельно четко выраженное бездушие и халатность на столь ответственном участке, как жизнь наших советских людей. Я считаю, что после работы комиссии, если последняя сочтет возможным и, более того, нужным, в чем я несколько не сомневаюсь, это дело будет передано нам, и ему, этому делу, будет дан надлежащий ход. Я считаю, что бездушие врача должно наказываться столь же решительно и беспощадно, как любое должностное преступление, например в технике безопасности.

Секретарь райкома:

— Ну уж вы, может быть, и преждевременно так суровы. Надо узнать, что скажет комиссия.

Мы только открывали рты. Еще толком неизвестны ни обстоятельства дела, ни решения экспертов, а такое ответственное лицо уже репетирует обвинительную речь. Этого не должно быть.

Мы вышли.

Зав:

— Вот все из-за вашего легкомыслия. Кто так делает, как вы?

— А что мы, собственно, сделали? Все законно, и он может произносить свои официальные тирады сколько ему угодно. Вздор это!

Зав:

— По-моему, он это так, для остротки сказал. Нет же, действительно вины. Ну их всех к черту!

Комиссия.

Со всеми поговорили. Не в чем нас обвинить, а тем не менее достается. Тяжелее всех досталось Лидии Сергеевне.

— Вы дежурили в этот день?

Лида:

— Я.

— Вы знали о конфликте лечащего врача с мужем больной?

— Слыхала.

— Вы проверили историю болезни перед тем, как больную увезли?

— Просмотрела назначения, но не читала.

— Почему?

— А зачем ее читать? Я и так про эту больную все знаю.

— То есть как это все? А какое было давление, например, вы знали? Скажите, а вы ее перед отъездом послушали, посчитали пульс?

— Нет.

— А как же вы могли ее отпустить тогда?

— Больная была относительно здорова. Язва на ноге. За время нахождения в отделении ее смотрел терапевт, была сделана электрокардиограмма...

— Это не имеет отношения к тому дню, когда она от вас ушла и умерла. Вы должны были это сделать.

Лида:

— Знала бы, где упасть, соломку бы подстелила. Только это ничего не изменило бы.

— Это неважно, это уже ваши рассуждения, не более. Вы могли бы говорить так, если б в истории были записаны все данные того дня, когда она уходила.

Видишь как! Говорят, можно писать короче истории болезни. «Мы разрешаем писать короче. Нечего разводить бюрократию. Больше общайтесь с больными». А как что случится — так во все глаза смотрят: записана ли какая-нибудь никому не нужная ерунда.

Лида мне после сказала, что она ей мерила давление и пульс пощупала утром на обходе. Просто так. Все было нормально. Но не записала. А если не записала — нечего и говорить об этом. Она и молчит.

Конечно, слушай не слушай, измеряй не измеряй — все одно. Ведь это внезапная смерть среди «полного» здоровья. Как гром с ясного неба. Что ж они мучают эту девочку!

Лида:

— А что мы могли услышать или намерить, что помогло бы нам, что предотвратило бы смерть? Ничего.

Полезла с ними в дискуссию! А они тенденциозны: главный врач сказала им, что надо нас как следует потрясти. Что она сказала что-то в этом роде — факт несомненный.

— Мы не знаем, предотвратило бы или не предотвратило. Помогло бы или нет. У нас нет никаких данных для любых рассуждений. Если бы это было, тогда бы мы и рассуждали с вами.

Короче говоря, нашли виновницу. Лида должна получить выговор. Надо же проявить такую изобретательность! Я бы никогда не додумался до такого поворота дела. Ни я, лечащий врач, ни зав не виноваты. Лида виновата!

Ведь все, что надо, написано было. А все-таки всегда находят хоть что-нибудь. Главное — хотеть найти.

Комиссия закончила расследование «дела Сувориной». Со следующего дня комиссия должна знакомиться со всей нашей работой.

Я пошел в поликлинику. Принимала Лида.

— Это ваш хваленый старичок, ваш старый милый доктор, надоумил их свернуть все на меня. Деликатно-деликатно — вот видали, что он сделал.

— А-а! Тогда мне ясно все. А я-то думал: как это они додумались до такого иезуитского выверта, не имея в том никакой личной заинтересованности? Ну, кума, это ты сама виновата. Конечно, деликатность. Только деликатность. Вот и плоды. Выговор тогда законный: за отсутствие деликатности, грубость и так далее.

— Так я ж права!

— Иди ты! Правдоискатель! То же самое можно сделать значительно спокойнее. И ему бы польза, и всем легче.

Лида со мной стала значительно тише и мягче. Раньше бы она уже что-нибудь накричала. Или она вообще стала мягче? Мне с ней стало легче. И, пожалуй, спокойнее, приятнее. Она-то ведь совсем не плохая девочка. Но ее надо сделать более терпимой. А может быть, она мне кажется лучше, потому что меньше мне возражает? Это льстит моему самодовольству. Кто его знает. Видно будет.

— Там ваша Дубова сидит. Ждет приема.

— Позови ее, пожалуйста, сейчас.

Дубова:

— Здравствуйте.

— Здравствуйте. Ну, как дела? Улучшаются?

— Чего ж улучшаются? Рана зажила. Рука еще почти не двигается.

— ВТЭК был?

— Дали третью — работать. Должна работать. А как я могу? Подала в ГорВТЭК на пересмотр.

Она права, конечно, со своих позиций. А они дали группу по инструкции. Высшая инстанция может пересмотреть. А в районе ничего другого и не могли сделать.

— Ходите к физкультурнику? Покажите-ка руку.

— Ходить-то хожу иногда. Да что толку? Раз уж сделали неправильно. Теперь что? Сразу бы как надо.

— Ну не надо снова заводить этот разговор. Я ведь вам уже объяснял. А теперь, в конце концов, можете думать как хотите и действовать как хотите. ⁸Пожалуйста, есть компетентные органы, пишите туда жалобу, они разберут. А наши споры с вами становятся уже неприятными.

(Становятся! Уже давно стали.)

— Да вы, доктор, на меня не обижайтесь. Мое-то положение поймите. А потом, я ж не про вас. Не вы ж тогда лечили.

— Да какая разница! Лечили правильно. Спасли почти безнадежную руку. Сделали все. А вы жалуетесь на них.

— Да я не жалуясь. Я просто горюю, доктор. Что с рукой-то делать? Мне ж работать надо. А я никуда жаловаться не собираюсь. Мне когда говорят про это, я и сама говорю, что руку спасли. Какая же жалоба! Просто я не знаю, как быть. А вам-то всем, конечно, спасибо.

Вот тебе и на! А я был уверен, да все были уверены — быть жалобе. Конечно. А что ей делать? Ведь работать надо. Жить надо. Поплакаться некому — ну, хоть в инстанции.

— А как быть, я вам все время говорю — только физкультура. Все время упражнения — тогда есть шанс. А вы не верите мне.

— Не верю.

— А вы попробуйте поверьте. Все ж нас учили чему-то. Кого-то мы вылечиваем. А?

— Попробую. Уж после ГорВТЭКа.

После этого разговора мне легче стало. И не потому, что еще одной жалобы не будет. А просто одной обидой меньше — спасти такую руку и получить за это жалобу. Действительно, тогда хоть не борись за них, за руки.

Вечером Лида была у меня. Взяла какие-то книги. Книги стала брать! Интересно. Потом был Леша. Философствовал — мол, не любит он правдоискателей, мол, все они жестокие, ограниченные люди. Особенно поливал Лиду. А я говорил, что из нее можно человека сделать. А он говорил — нельзя сделать, это уж навсегда.

Так мы провели вечер — в совершенно беспредметном, бесцельном интеллектуальном словоблудии.

А потом я пошел позвонил в Москву.

И опять мы обсуждали болезни по телефону. А я не хочу с ней обсуждать болезни. И все равно буду. И не хочу по телефону. И вообще, я с ней веду себя очень странно. Десятый класс! Давно уже надо было съездить в Москву. Или, еще лучше, сказать: «Приезжай завтра. Жду». И приехала бы. На-

верное приехала бы. А теперь передержка. Надо сразу кидаться, как в бою. А я разговоры разговариваю. Шучу все больше. Остряк. Теперь-то мне уже известно, чем это кончится. А почему, собственно? Я достаточно взрослый человек, чтобы понять. Да я и понял все. Говорю с ней — через что-то перепрыгнуть не могу. Смотрю — и прыгать, оказывается, не надо.

Утро.

У входа в больницу меня ждет женщина.

— Здравствуйте, доктор.

Не узнаю.

— Не узнаете?

— Нет.

— Два года назад вы мне желудок¹ отрезали.

А-а! Это был рак. Хорошо выглядит. Тяжелая операция. Она ведь приезжая. Все в порядке?

— А-а! Помню, помню. Как дела ваши? Все хорошо?

— Все хорошо. Я поправилась, как домой приехала. Ем все. Работаю. А сейчас приехала к вам с сестрой. Она заболела. Ей операцию велют делать. Ну я уж к вам, как вы меня спасли, так и ее, пожалуйста, не откажите.

Не откажите! Да я до смерти рад, когда меня так просят. Не откажите! Конечно, нет. Вот если бы сказала: «Я вам заплачу, не откажите», — вот тогда можно отказать. А если: «Вы меня спасли, не откажите», — конечно, не откажу.

Вот это я и считаю высшим признанием, когда выздоровевшие везут родственников своих. И еще — когда операционные сестры просят оперировать их или близких своих.

На комиссии я сидел уверенный и никого не боялся. Я как Антей, коснувшийся земли. Вот бы сейчас сюда Нину.

— Нас интересуеет вот эта больная. — Показывают историю болезни.

— Что именно вас здесь интересуеет?

— Больная тяжелая. Запущенный рак всего желудка с прорастанием в толстую кишку. К тому же диабет. Так?

— Ну?

— Как вы подготавливали ее к операции, учитывая тяжелый диабет?

— Тут все написано.

— Вот, есть. Посмотрел эндокринолог и сказал, что оперировать нельзя. Это мы видим. А вы оперировали.

— Эндокринолог назначил курс подготовки к операции, и лишь потом мы оперировали.

— Но второй записи эндокринолога нет.

— Анализы были достаточно хорошие.

— Два хороших анализа — это еще мало.

Смотрю я на эту докторшу. Или нет — врачиху. Это слово мерзкое. Клопиха. Инвалидка. Но если женщина-врач мне не нравится — обязательно называю почему-то «врачихой». А эта — сухая стерва. Изможденное лицо инквизитора. Бесмыслицу всякую порет. Ну, посмотрим, что дальше она скажет.

Она и сказала:

— Эту больную подготавливать не две недели, а по крайней мере два-три месяца надо.

Ну мастер! Ну сказала!

— Это запущенный-то рак?! Да она через месяц умерла бы.

— Да, возможно.

Одумалась. Но ненадолго. Такую не собьешь.

— Ну хорошо. Вы оперировали и увидели, что опухоль занимает весь желудок, толстую кишку, ножку селезенки, да еще при тяжелом диабете! Это ж почти верная смерть. Какое вы имели право идти на эту операцию?

— Если есть хоть малейший шанс для спасения — он должен быть использован. Нас так учили. А принципиально эта опухоль была удалима. В противном случае больная должна погибнуть — это стопроцентно.

— Так она все равно погибла!

— Во-первых, мы использовали последний шанс и сделали все возможное, во-вторых, она погибла не от самой операции.

Место операции при вскрытии было без каких-либо осложнений. Так, как погибла она, мог умереть я, вы, кто угодно, и без всякой операции.

— Все равно вы эту операцию не должны были делать. Это нам ясно. В крайнем случае ее должен производить заведующий отделением.

Я опять развел руками. Аргумент!

Еще несколько аналогичных случаев внимательно исследовала комиссия (точнее — расследовала). У меня и у Леши.

На Леше канкан плясался по поводу оживления.

— Какие основания были у вас для начала мероприятий по оживлению? (Речь идет о нашем Васе.)

— То есть? Смерть его — и все основания.

— Но в этих условиях нельзя было оживлять. Там же все не приспособлено.

— Но это же был труп. Мы ничего не теряли.

— Как это — не теряли? Больного вы потеряли. В глазах всего персонала и больных метод дискредитирован полностью.

— Но это же был труп! О чем вы говорите? Был же шанс спасти его. А потом, что значит дискредитировать метод среди больных? Я и не собираюсь пропагандировать этот метод в широких кругах: давайте, ребята, помирайте, а уж мы вас, может быть, оживим. Да и они, надо думать, не стремятся.

— Ваш юмор неуместен, коллега. В антисептических условиях вы позволяете себе вскрывать больному грудную клетку. И что значит — труп? Если бы это был только труп и никакой надежды, то речь бы шла о вскрытии, не о методах лечения. Вы же надеялись, что он будет жить. Так как же можно?

— Но если я не стану его оперировать даже в этих условиях — мне не на что и надеяться.

— Во всяком случае, мы не можем пройти мимо этого лихачества.

— Не понимаю. И не соглашаюсь. И если я увижу человека с сохранившимися шансами — оживлять буду, где бы он ни находился.

— Но вы же видите, к чему это привело?

— К чему? К комиссии — и все.

— Но вы ж не оживили?

— Не удалось. Но он все же ожил. Сто не оживлю. Тысячу! Но если один на сто тысяч уйдет домой, уже игра стоит свеч.

— Мы вполне можем прекратить дискуссию. Коллега делает вид, что не понял, — не будем тратить время на объяснения. Нам все ясно. Администрация больницы правильно сделала, вынеся товарищу взыскание.

Мы шли домой, я бы не сказал расстроенными, разбитыми, а скорее оплеванными. Не мы, впрочем, оплеваны — здравый смысл. Мы шли по городскому саду медленно и не разговаривали. «Наши сердца были переполнены счастьем, а счастье всегда молчаливо», — пришла в голову фраза из Вальтера Скотта, очень нравившаяся мне в школьные годы.

В мои размышления ворвался резкий старушечий докторский голос:

— Что это за Колька! Почему ты его назвал Колькой? Извинись немедленно перед товарищем. Разве можно так называть друг друга? Сколько раз тебе говорили: Коля, а не Колька.

Песталоцци!

Равнодушный детский голос привычно быстро буркнул:

— Извини, Коля.

Вот так оно и бывает: к детям относятся либо как к идеальным ангелам, никогда не спускающимся на землю, либо как к домашней живности.

Воспитательница, «врачиха», мой больной шофер — сколько их, сестер, братьев!

Комиссия закончила работу. Вывод по делу Сувориной: состава преступления нет. Есть вина дежурного врача, проявившего халатность, выразившуюся в пренебрежении некото-

рыми мероприятиями, которые, впрочем, не могли повлиять на исход, и тем не менее... надо полагать... однако... мы... и так далее, и так далее. Дежурному выговор, много всяких замечаний, рассуждений, сентенций и обобщений.

...Детальное изучение материалов выявило ряд серьезных дефектов в оформлении историй болезни.

(А как насчет больных?!)

...Протоколы утренних конференций слишком кратки, ведущий конференцию установок не дает.

(А как же без установки? Творчеством, что ли, заниматься?!)

...В отделении нет графика обходов.

(Если каждый день зав смотрит больных — это не в счет.)

...Квалифицированные врачи с большим хирургическим стажем (более двадцати лет) оперируют меньше, чем малоквалифицированные хирурги (с десятилетним стажем).

(И это, оказывается, плохо!)

...Ни один работник отделения не указал на собственные недостатки, не оценил своей работы самокритично.

(Этот довод всегда бьет безошибочно.)

...Протоколы клинических конференций плохие. Кто присутствует на них — неизвестно.

Ну и так далее.

Комиссия помогла нам понять ошибки. Теперь писать истории болезни будем как следует. Протоколы тоже. Бумажки должны быть на высоте.

А вот как же с больными-то быть?

Мы набрались смелости и выводов для себя не сделали.

Решили оперировать — если можно спасти. Оживлять — если есть надежда.

Зав наш, правда, пошатнулся, но удержался. Нас обругал. Сказал, что с такими помощниками надо держать в запасе какую-то свою комиссию, сплошь из своих людей.

Через несколько дней приехала Нина.

— Болит, доктор. Может, полечишь? Изверилась в своих я докторах.

— Когда вылечить вообще трудно, почему-то перестают верить в своих докторов. Если еще нельзя полететь на Луну, ты же не перестаешь верить в физиков, инженеров, космонавтов.

— Какой ты зануда! Нельзя же все видеть в одном ракурсе. Нельзя все время долдонить одно и то же. У меня болит! Понимаешь? А Луна мне до лампочки.

Разговаривает со мной, сидя в машине. Смотрит в окошечко и посмеивается. Может, и не посмеивается, но и посмеивается тоже. Интересно — это у нее естественная такая кожа или косметика? Какая разница! А если посмотреть в глаза — обыкновенные. А почему ж тогда хочется посмотреть в глаза? Сутулая. Сидит сутулится. Приятная сутулость. Волосы растрепанные — так и хочется туда запустить руки. Люблю, когда волосы растрепанные. Растрепанные волосы — это свободно. Эх, были бы волосы!

— Ты где будешь? У меня или в гостиницу поедешь?

— Милый, когда-то я у тебя спросила, ободрав коленку, делать ли противостолбнячную. Ты отвечал: видишь ли, можно иногда пренебречь даже такой обязательной манипуляцией, но если этот вопрос встал — делать. Я в гостинице.

Все. Насколько я понимаю — все. Передержка была. Сразу надо. А теперь — все. Ошибок много.

— Ты меня лечить будешь, ангел?

— Лечить-то буду. А вот смогу ли вылечить?

Она пробыла три дня. А дальше ей надо было уезжать работать.

Мы с ней много говорили. И перед самым отъездом. Она уже в машине, а я все рассказываю про жалобы, про комиссию. А она — про болезнь. Про комиссию она сказала:

— Лучше не воевать, чем не победить... Ну, будь здоров,

дорогой. Я порулила к дому. Мои боли за тобой. Если и правда придется меня оперировать — жди вновь.

А мотор пока разогревался, тарахтел тихонечко. Почему мотор и летом надо разогревать? Не знаю. Один из нас в этом ничего не понимает. Либо она напрасно разогревает, либо я напрасно удивляюсь.

Где-то ошибки. Где-то стены ненужные строятся.

Полагалось бы машине резко сорваться с места, оставив меня стоящим в клубах пыли. А мне полагалось бы оторопело смотреть вслед. Машина должна становиться все меньше. Глаза у меня должны становиться все больше и, наверное, печальнее.

А на самом деле машина медленно стала отъезжать. Медленно, медленно. А я не шел рядом. Она рулила одной рукой. Голову высунула в окно и крикнула:

— Будь здоров, великий государы!

— Осторожно! Смотри, куда едешь! — крикнул заботливо и я.

Эх, я такой заботливый, предупредительный, отзывчивый. А надо ли? И при этом строю стены, стены...

А она тоже хороша! Всегда знает, что сказать. Зачем она знает? И фразы гладкие. Готовые. И решение готово. Ну, уж готово ли?

А не слишком ли я категоричен?

ЛИДА

Полгода уже, как я здесь работаю. Нет, не «уже», а всего! Всего полгода. Некоторые врачи мне сразу понравились. Они работают с удовольствием и для удовольствия. А некоторые — «стоячее болото». Лечат, как лечили тридцать лет назад. И лечат всегда одинаково. Как было написано когда-то в учебниках — это уж выполняется точно. Уж камфару-то, кислородную подушку умирающий обязательно получит. Да разве это может помочь? А новое слишком ново для них — «Нель-

зя, — говорят, — экспериментировать на больных». Они — «старые опытные врачи».

Их же надо бить и бить, пока не переучатся. И плевать мне на то, какими они были раньше.

Так я тогда говорила. Особенно напускалась на одного старика. Этот старик застоялся. Он не годится уже. И значит, гнать его надо.

А Леша с Борисом говорят — надо быть деликатным, выдержанным, спокойным, интеллигентным, человечным.

А что, я не человечна?

Я думаю о деле. А они мне говорят — его некуда выгнать. До пенсии он еще не дожил.

Я им говорю:

— Пусть идет в поликлинику.

Леша взвился. Обозвал меня снобом от медицины.

— Поликлиника — это тебе не врачебная свалка. Там работать еще трудней. Не думай, пожалуйста, что хирург поликлиники — это просто плохой хирург. Это совсем другой хирург. Это другая специальность.

— Да я и сама там работаю. Нечего мне объяснять.

— Работаешь, а не понимаешь. Если он отстал, то здесь врач работает не один, под присмотром. Ему можно и подсказать и поправить можно. А там он совсем самостоятелен.

И Борис включился:

— Подсказывать надо осторожно, деликатно. Не бить дубиной по голове. Так ведь только озлобишь, а не научишь. Сделала правильно и молчи. Сам увидит.

— Я требую что положено.

— Ну и тупо. Надо быть лабильной. В подвижности нервной системы — преимущество молодости. — Это опять Леша.

— Преимущество молодости в непримиримости к недостаткам, — недолго думая, ответила я.

— До чего ж тебя напичкали догмами! — Я думала, Леша тогда убьет. — Ты на этих догмах как в пьедестал вмазана. Так на века и застынешь. Через несколько лет тоже бу-

дешь делать всегда одно и то же. При любой болезни, при любой ситуации. Сегодня твои действия прогрессивны, а через десять лет отстанешь и будешь цепляться.

Борис мне рассказал, что старик в тридцатые годы — он с Борисовым отцом учился — подавал, как говорится, большие надежды. Был будто бы очень хороший хирург. Работал в хорошей клинике. Он был весь в хирургии. Днями и ночами сидел в отделении. Даже читать не успевал ничего, кроме своей хирургии да газет. Года за три до войны что-то случилось в больнице, какого-то большого начальника оперировал по дежурству, то ли сделал что-то не так, короче — больной умер, потом заявление в прокуратуру, потом суд, потом лагерь. В лагере, говорят, врачом работал. В войну из лагеря на фронт в штрафники сам пошел.

— Да какое мне дело до этого? Работать-то сейчас надо, а сейчас он не годится. Не логично все это, — ляпнула я с ходу.

И как будто я их по морде ударила. «Логичность» их, что ли, опять так взорвала, уж не знаю. Кричали мне про цинизм, говорили, что я думаю только о деле и совсем не думаю о людях. Даже в пришибеевщине обвиняли.

Какой же я Пришибеев? Почему я бесчеловечна?! Я люблю жизнь: больницу, операции. Люблю оживлять, люблю выхаживать больных, любить люблю. Мне хочется всего! И все равно по-прежнему ненавижу устаревших недомерков, не умеющих или разучившихся работать. А это и есть настоящая, человеческая человечность. Я должна быть деликатна, чутка, тактична? Сначала-то мне казалось, что это все они придумывают. А вообще-то, на крике и правда работать трудно. Правда. А как насчет правды?

Вот к Борису приезжала приятельница из Москвы. Приятельница. А он был деликатный-деликатный. И на операциях мне помогал, и в поликлинику ко мне приходил. Помогал по-всякому.

К нему приезжала женщина из Москвы. Красивая. Кра-

вая. А он был всегда хорош со мной. Мне казалось — даже больше, чем хорош.

А вот она приезжала. Он со всеми был деликатен. Со всеми деликатен был, а меня щадил. Щадил!

А тут вдруг подходит и говорит: «Переезжай ко мне». Так сразу и сказал.

— Вы что? — спрашиваю.

— Ко мне, говорю, переезжай. Совсем. Жить будешь у меня. Если хочешь — со мной. Хочешь? Я хочу. Поедем ко мне. Ты прости меня за неожиданность, ну, а стало быть, и за грубость. — Спокойно, спокойно говорит и будто режет. — Переезжай ко мне. Или молодежь лучше, да? — И смеется. Знаю, когда так смеются. Хочет показаться развязным. А еще он может выругаться и думает, что скрыл смущение.

А я и переехала. И не жалею. Хочу детей своих.

А на работе все по-прежнему. Почему-то мне кажется, что уж не такое у нас «тихое болото». То ли они лучше стали, то ли я в «болоте» сама. Не ссорюсь. Работаю.

Может, и правда лучше правду доказывать, чем мордой об стол возить?

Деликатности! Вообще-то, с ней легче. Борис любит вспоминать Дурова — учить надо лаской. Опять я за ним все повторяю. Все это я повторяю.

А может, присмотрелась, притерпелась? Может, и характер стал лучше?

Может, червь не точит никакой?

Может, просто работать научилась?

Все-таки это приятно — людей не обижать. Вот только бы замечать, когда ты обижаешь их. Просто думать надо, наверно, все время.

СОДЕРЖАНИЕ

Книга «бывалого» человека. <i>Георгий Радов</i> . . .	5
Вступление	9
Старик подносит снаряды	13
Годная кровь	71
Первый раз	77
Что им надо?	81
Олег	85
Риск	93
Вскрытие	100
Дискуссии	105
Что же делать?..	110
Подготовка	118
Победа	122
Аппендицит	129
Мистерия в письмах	137
Всего полгода	143

Крелин Юлий Зусманович

СТАРИК ПОДНОСИТ СНАРЯДЫ. Повести
и рассказы. М., «Молодая гвардия», 1970.
224 с. Р2

Редактор *Н. Самарская*
Художник *Ю. Аратовский*
Художественный редактор *Н. Печникова*
Технический редактор *И. Соленов*

Сдано в набор 23/1 1970 г. Подписано к печати
6/IV 1970 г. А00671. Формат 70×108¹/₃₂. Бума-
га № 2. Печ. л. 7 (усл. 9,8). Уч.-изд. л. 10,8.
Тираж 100 000 экз. Цена 31 коп. Т. П. 1969 г.,
№ 345. Заказ 90.

Типография издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая
гвардия». Москва, А-30, Сущевская, 21.



31 коп.

молодая гвардия